Вибір фото

Том 5. Отверженные (часть II)
Виктор Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Часть II. КОЗЕТТА
КНИГА ПЕРВАЯ. ВАТЕРЛОО
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Что можно увидеть по дороге из Нивеля
ГЛАВА ВТОРАЯ. Гугомон
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 18 июня 1815 года
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. А
ГЛАВА ПЯТАЯ. Quid obscurum сражений
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Четыре часа пополудни
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Наполеон в духе
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Император задает вопрос проводнику Лакосту
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Неожиданность
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Плато Мон-Сен-Жан
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Гвардия
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Катастрофа

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Последнее каре
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Камброн
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Qlot libras in duce?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Восстановление священного права
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. Поле битвы ночью
КНИГА ВТОРАЯ. КОРАБЛЬ «ОРИОН»
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Номер 24601 становится номером 9430
ГЛАВА ВТОРАЯ,. в которой читатели найдут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,. из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы потом разбить его одним ударом молотка
КНИГА ТРЕТЬЯ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ, ДАННОГО УМЕРШЕЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Вопрос о водоснабжении в Монфермейле
ГЛАВА ВТОРАЯ. Два законченных портрета
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Людям — вино, а лошадям — вода
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. На сцене появляется кукла
ГЛАВА ПЯТАЯ. Малютка одна

ГЛАВА ШЕСТАЯ,. которая, пожалуй доказывает сообразительность башки
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Козетта в темноте, бок о бок с незнакомцем
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. О том, как неприятно впускать в дом бедняка, который может оказаться богачом
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Тенардье за работой
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Кто ищет лучшего, тот может найти худшее
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛАЧУГА ГОРБО
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Хозяин Горбо
ГЛАВА ВТОРАЯ. Гнездо совы и славки
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Два несчастья при слиянии образуют счастье
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Наблюдения главной жилицы
ГЛАВА ПЯТАЯ. Пятифранковая монета, падая на пол, звенит
КНИГА ПЯТАЯ. НОЧНАЯ ОХОТА С НЕМОЙ СВОРОЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Стратегические ходы
ГЛАВА ВТОРАЯ. К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Смотри план Парижа 1727 года
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. В поисках спасения
ГЛАВА ПЯТАЯ. Что было бы немыслимо при газовом освещении
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Начало загадки
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Родолжение загадки
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Загадка усложняется
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Человек с бубенчиком
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,. в которой рассказывается о том, как Жавер сделал ложную стойку
КНИГА ШЕСТАЯ. МАЛЫЙ ПИКПЮС
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Улица Пикпюс, номер 62
ГЛАВА ВТОРАЯ. Устав Мартина Верга
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Строгости
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Веселье
ГЛАВА ПЯТАЯ. Развлечения
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Малый монастырь
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Силуэты во мраке
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Post corda lapides
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Сто лет под апостольником
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Происхождение «неустанного поклонения»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Конец Малого Пикпюса
КНИГА СЕДЬМАЯ. В СКОБКАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Монастырь — понятие отвлеченное
ГЛАВА ВТОРАЯ. Монастырь — факт исторический
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. При каких условиях можно уважать прошлое
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Монастырь с точки зрения принципов
ГЛАВА ПЯТАЯ. Молитва
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Неоспоримая благодать молитвы
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Порицать следует с осторожностью
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Вера, закон
КНИГА ВОСЬМАЯ. КЛАДБИЩА БЕРУТ ТО, ЧТО ИМ ДАЮТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ,. где говорится о способе войти в монастырь
ГЛАВА ВТОРАЯ. Фошлеван в затруднительном положении
[Пропуск]
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Между четырех досок
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,. из которой читатель уяснит себе, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Удачный допрос

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Жизнь в заточении

Аннотация

Компиляция. Перевод соответствует изданию. В книге восьмой часть текста пропущена.

Виктор Гюго
Собрание сочинений в 10 томах
Том 5

ОТВЕРЖЕННЫЕ

Часть II
КОЗЕТТА
КНИГА ПЕРВАЯ
ВАТЕРЛОО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Что можно увидеть по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром, прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп. Он шел по широкому обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа-Сеньер-Иссак. На западе уже виднелась крытая шифером колокольня Брен-л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади раскинувшуюся на холме рощу и, на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава № 4», кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в

небольшую долину, где, вытекая из-под мостовой арки в дорожной насыпи, струился ручей. Не густые, но ярко-зеленые деревья, оживлявшие долину по одну сторону шоссе, разбегались на противоположной стороне по лугам и в живописном беспорядке тянулись к Брен-л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымившаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась на ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, вдоль лужи, в которой плескалась стая уток, пролегала скверно вымощенная дорожка, углублявшаяся в чащу кустарника. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды XV столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам.

Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались весенние цветы. Ворота были заперты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый, заржавленный молоток.

Солнце светило ярко; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Смелая пташка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

— Сюда попало французское ядро, — сказала она и добавила: — А вот здесь, повыше, на воротах, около гвоздя, — это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.

— Как называется эта местность? — спросил

прохожий.

— Гугомон, — ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Гугомон

Гугомон — вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон, первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне — всего только ферма. Гугомон для знатока старины — «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который внес богатый вклад в шестое капелланство аббатство Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле XVI века, похожие на

арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят величественное впечатление. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот — навозная яма, мотыги, лопаты, тачки, старый колодец с каменной плитой на месте передней стенки и железной вертушкой на вороте, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену часовни, — таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры роются в пыли. Рычит большая собака; она щерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане не могли не вызвать изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальной плоскости, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно

было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные — ворота замка, и северные — ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жермона; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб. Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не смогла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколоченные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны глубокие шрамы, следы атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. За этот вход бились ожесточенно. На косяках

ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще и сейчас ураган боя ощущается на дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре, это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное, крыло здания — все, что осталось от Гугомонского замка. Замок служил крепостью, часовня — блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон — из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, изо всех окон, изо всех отдушин, изо всех щелей в стенах, — притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные

железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, рассевшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене; на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосягаемые степени крепко сидят в своих гнездах. Остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждою весну зеленеет вновь. Оно начало прорастать сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времен бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой уцелел — грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре выбеленные стены, против престола дверь, два полукруглых окошка, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная

отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама — такова эта часовня. Около аналоя прибита деревянная, XV века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем выбитые из нее, подожгли ее. Пламя охватило ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.

Стены испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: *Henquines*[1], А дальше: *Conde de Rio Maior*[2]. *Marques y Marquesa de Almagro* (*Habana*)[3]. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили одна другую.

---

[1] Примечания: 1
Энкинес (*исп.*)

[2] Примечания: 2
Граф де Рио Майор (*исп.*)

[3] Примечания: 3
Маркиз и маркиза де Альмагро (Гавана) (*исп.*)

Возле двери часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают больше воды. Почему же из него не черпают больше воды? Потому что он набит скелетами.

Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют несчастному разбежавшемуся населению. Еще и сейчас видны явственные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножнами сабель, принудили запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из колодца. Для многих то был

последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения поторопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, — дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф — непременное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребения из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.

Колодец стоит посреди двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца — вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли

крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и время от времени из соседних рощ сюда залетает пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди развалин — ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, представляет собой потомство давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне:

— Я все видела. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя сестра была постарше, она боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках

у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали ухом к земле. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум!»

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать — из трех актов драмы. Первая часть-цветник, вторая — фруктовый сад, третья — роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа — строения замка и ферма, налево — плетень, направо — стена, в глубине — стена. Правая стена — кирпичная, стена в глубине — каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще и теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, стены и сейчас готовы принять бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на разной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь в южной стене, на которую были брошены главные силы. Снаружи стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду — на английскую

гвардию, на тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль, и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся изрыта картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий сад, не остается безучастным к приходу весны. И здесь распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнущим бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом

склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь бурлил поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, — и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка! Если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

18 июня 1815 года

Возвратимся назад — это право каждого повествователя — и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным небольшой дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу, вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.

Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что земля размокла и надо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира — «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на

артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию — вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал их исход пушкой. Его гений — гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск — вот его цель; разить непрестанно — это он доверил ядру. Эта устрашающая система в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона — двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновения которого ощущал? Перестал ли — что так важно для главнокомандующего — сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть — значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон чувство победы? Не дошел ли он до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с

высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возничий судьбы просто в беспримерного сорвиголову?

Мы этого не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон-Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море — вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и описана мастерски, Наполеоном — с одной точки

зрения, и целой плеядой историков[4] — с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, останемся лишь далеким зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему взглядов. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке — этом загадочном обвиняемом, — то мы судим его, как судит народ-этот простодушный судья.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо вообразить лежащую на

---

[4] Примечания: 4

Вальтером Скоттом, Ламартином, Волабелем, Шарасом, Кине, Тьером (*Прим. авт.*)

земле громадную букву А. Левая сторона этой буквы — дорога на Нивель, правая — дорога на Женап, поперечная черта буквы А — проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-л'Алле. Верхняя точка буквы А — Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка — Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка — Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую сторону буквы А, расположен Ге-Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва — символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, — это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, Рейль — против Гиля.

За вершиной буквы А, за плато Мон-Сен-Жан, находится Суанский лес.

Что же касается равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый следующий вал встает над предыдущим, а

все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы — это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все; любой куст — опора, угол стены — защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, кстати пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг — все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего всматриваться в каждую группу деревьев, проверять каждый холмик.

Оба полководца тщательно изучили равнину Мон Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. За год до этого ее исследовал с мудрой предусмотрительностью на случай большого сражения Веллингтон. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались у Веллингтона, худшие — у Наполеона. Английская армия находилась наверху, французская внизу.

Вряд ли стоит изображать здесь Наполеона утром 18 июня 1815 года, на коне, с подзорной тру-

бой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Спокойный профиль под форменной шапочкой Бриеннской школы, зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, серый редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком. по углам которого вышиты буква N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, — весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе странное, божественное свойство: будучи сама светом и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, мрачные черты деспота

сталкиваются с обаянием полководца Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, порабощенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе!

ГЛАВА ПЯТАЯ
Quid obscurum сражений[5]

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан — в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. В углублениях, словно в бассейнах, скопилась вода; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые потоком движущихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего

---

[5] Примечания: 5
Темная сторона (*лат.*)

рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в узких долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге-Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего у себя в тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево — таков был план Напо-

леона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен-л'Алле, оттуда к Галю, — ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге-Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Молодые солдаты яростно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать,

сам себе генералом; новобранцы выказали чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички, пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге-Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов есть неясный промежуток; средина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленями и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, — все это представляется как отдельные картины,

но не как ряды войск, построенные по правилам стратегии, и представляет интерес для Сальватора Розы, но не для Грибоваля.

Во всякой битве есть что-то общее с бурей. *Quid obscurum, quid divinum*![6]. Каждый историк различает несколько поразивших его в схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то: как рыхлый грунт — здесь быстрее, а там медленнее — поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Эти издержки предвидеть нельзя.

Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы; людские рифы непрерывно перемещаются; там, где только что была пехота,

---

[6] Примечания: 6
Нечто темное, нечто божественное (*лат.*)

появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны — словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите — его уже нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются. Какой-то кладбищенский ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? — Колебание. Устойчивость математически точного плана отражает минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос, Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку, дробится и разделяется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основы контура борьбы, и ни одному самому добросовестному повествователю не дано

запечатлеть полностью облик грозной тучи, имя которой — битва.

Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.

Но все-таки после полудня исход битвы начал определяться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль — правым крылом, Пиктон — левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Ни шагу назад!» Уже ослабевший Гиль стал под защиту Веллингтона. Его сразила пуля, попавшая ему в голову. Пиктон был убит в ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге-Сент; Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге-Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты

или захвачены в плен. Три тысячи сражавшихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев более не существовало, могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Мархумер. Две дивизии — пятая и шестая — разгромлены.

Гугомон был обречен, Ге-Сент взят, — оставался еще один оплот: центр. Он держался твердо. Веллингтон усилил его. Он вызвал туда Гиля, находившегося в Мерб-Брене, он вызвал туда Шассе, находившегося в Брен-л'Алле.

Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато

Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди — откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка XVI века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была размещена в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, находился в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял

Суанский лес, граничивший в то время с полем боя и прорезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки — расстроиться, артиллерия — погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь превратилось бы в беспорядочное бегство.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, кроме того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженно прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным валом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести ее палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, весь день простоял впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?»

«Поступать так, как я», — ответил Веллингтон. Клинтону он отдал краткий приказ: «Держаться до последнего человека». Было ясно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» — кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все остальное исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся. Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как ч этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу.

Ridet Caesar, Pompeius flebit[7] — говорили воины легиона *Fulminatrix*'а[8]. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы близ Россома, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-л'Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, прибудет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова — «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже больше не были заодно.

Он ни на секунду не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услы-

---

[7] Примечания: 7
Смеется Цезарь, Помпей заплачет (*лат.*)

[8] Примечания: 8
Молниевержца (*лат.*)

шал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» — говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности — бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню

Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! — воскликнул Наполеон. — Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром, на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Забавная шахматная доска!»

Из-за ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста!» В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то сказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал — сегодня». Император посмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не так прост, чтобы

дожидаться вашего величества». Впрочем, это была обычная манера Наполеона. «Он любил пошутить», — говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», — говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, не столько остроумными, сколько своеобразными», — говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», — говорил один из них. Во время тайного переезда с острова Эльба во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и ответил сам: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на такую шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеон несколько раз хохотал. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружились перьями

и положили лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, под барабанный бой, под звуки сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия (это может показаться невероятным) успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения войска в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, заметил: «Вот

двадцать четыре прелестных девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него сапер первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строившихся сомкнутой коленной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль!»

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья, — в семь часов вечера — между Бель-Альянс и Ге-Сент, была очень опасна; это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь; за ним, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг бугра ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями

ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной — *scabra rubigine*. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина! Как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.

Теперь неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, уви-

дев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя!» Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в гору, отлогую по направлению к нивельской дороге, и почти отвесную со стороны женапской дороги. Высоту ее можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель: слева — могила англичан, справа — немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина — усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу па плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге-Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого изда-

ли невозможно было догадаться.

Что же это был за ров? Поясним. Брен-л'Алле — одна бельгийская деревня. Оэн — другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких впадинах, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы и образует овраги. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. Почти на всем своем протяжении эта дорога, как и прежде, представляет собою траншею, кое-где достигающую двенадцати футов глубины; ее крутые откосы местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя»

и даты его гибели: «февраль 1637».[9] Дорога так глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест; его верхушка исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на травянистом скате, слева от дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.

В день битвы эта дорога, на существование которой ничто тогда не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине кручи или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, — иначе говоря, страшно опасна.

---

[9] Примечания: 9
Вот эта надпись:

> «Всемогущий, всеблагой бог с тобою.
> Здесь по воле несчастного случая был раздавлен
> телегой
> господин Бернар
> Дебри, торговец
> из Брюсселя (неразборчиво)
> февраля 1637» *(прим. авт.)*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день битвы под Ватерлоо Наполеон был доволен.

Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии — упорное сопротивление Гугомона и стойкость Ге-Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегавшую внизу дорогу; слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пире при Брен-л'Але, почти полностью

уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье — этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы — как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге-Сента; дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пакком и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков;

тревожное сообщение черного гусара-пруссака, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, — все эти бурные события, словно грозовые облака, проносившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался подсчетом прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму — победу. Пусть начало оказалось неудачным — это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» — казалось, говорил он року.

Сочетая в себе свет и тьму, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло — ее терпимость. Он имел — или верил в то, что имеет, — на своей стороне потворство,

можно сказать, почти сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого позади были Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не следовало бы доверять Ватерлоо. Над его головой уже зловеще хмурилось небо.

В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон-Сен-Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суанский лес и там разгромить — вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Обдумывая эту грозную развязку, император в последний раз оглядел в подзорную трубу поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, с благоговением взирала на него снизу вверх. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в купы деревьев, в квадраты ржи, в тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально

всматривался он в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев — одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, а другую — на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святителя Николая, что на повороте дороги в Брен-л'Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности тая коварный умысел.

Император выпрямился и погрузился в раздумье.

Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись, Наполеон отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон-Сен-Жан.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра-Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря — тысяча сто девяносто семь человек и гвардейские уланы — восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом — кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.

И тут глазам представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, как один человек, с саблями наголо, с развевающимися на ветру штандартами, с поднятыми трубами, подобная бронзовому тарану, пробивающему брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких людей, скрылась в дыму, потом, вырвавшись из мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Кавалеристы поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Две дивизии двигались двумя колоннами: дивизия Ватье — справа, дивизия Делора — слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятая тяжелой кавалерией большого московско-

го редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось. что вся эта масса людей превратилась в сказочное диво и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь местами разорванное огромное облако дыма, извивались и вздувались, как щупальца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар — хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А надо всем этим — кирасы, словно чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпопеях, повествовавших о полулюдях — полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человечьими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные, боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, укрываясь за батареей, английская кавалерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть — на

второй, взяв ружья наизготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч коней, бежавших крупной рысью, мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг произошло нечто трагическое: налево от англичан, направо от нас раздался страшный вопль, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся во власть необузданной ярости, готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними,

непредвиденный, круто обрывавшийся под копытами коней меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались, падали на круп, скользили по откосу вверх ногами, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти. Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так

жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако белая часовенка на пересечении этой дороги с нивельским шоссе насторожила его, и он спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо уже не входила в расчеты XIX века. Готовился другой ряд событий, где Наполеону не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до этого сражения.

Пробил час падения необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нару-

шал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный в конечном счете мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли правила и основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна им внемлет.

На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.

Он мешал богу.

Ватерлоо — не битва. Это изменение облика всей вселенной.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на одно мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.

Колонна Ватье пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороною, левей, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах и с пистолетами в руках, — такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа человека ожесточается и превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули

перед отчаянным натиском.

И тут наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован одновременно. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзался, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные конями. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, не видели во время других битв. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры — не кавалерия, а ураган. Каждое каре

превратилось в вулкан, атакованный тучей, лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергавшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане и хранивший полнейшее спокойствие, опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминавшим об Аргосе. Сабля кирасира, отсекшая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным да еще понесшим потери во время катастрофы в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди — каре, позади — Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четыреста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую — Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться сразу от всех. Но разве это имело для них значение? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

А в тылу у них непрерывно гремела батарея. Вот почему эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции «Музея Ватерлоо».

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэта. Плато Мон-Сен-Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию,

чтобы снова обрушиться на пехоту; в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.

Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегли на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»[10].

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойца-

---

[10] Примечания: 10
Splendid! — подлинное его выражение. (*Прим. авт.*)

ми, когда оба, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы это определить. Достоверно одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги — на Нивель, Женап, Ла-Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из тех. кто поднял труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жане. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желанной цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало и тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия истекала кровью. Кемпт на левом

крыле требовал подкреплений. «Подкреплений нет, — отвечал Веллингтон. — Пусть умирает!» Почти в ту же минуту — это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий — Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Рожу, что ли?»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк, иными батальонами командовали теперь капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге-Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван-Клузе устилали своими телами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не осталось почти ни единого человека от голландских гренадер, которые в 1811 году вместе с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. У французов

во время атаки кирасир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омптеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен — на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; в 79-м полку горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, — его впоследствии судили и разжаловали, — испугавшись рукопашной схватки, показал тыл и бежал через Суанский лес, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили «Спасите!» От Вер-Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые

живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII — в Генте. Если не считать слабого резерва, построенного эшелонами за лазаретом на ферме Мон-Сен-Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, орудия были сбиты с лафетов.

Эти факты подтверждает Сиборн, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс — комиссар Винцент и испанский кригс — комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.

И тут в этой исполинской драме наступил перелом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер — смерть вместо жизни.

Судьба совершает порой такие крутые повороты: не владычество над всем миром, а остров св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу выше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба XIX века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.

Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) — и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «Битва при Ватерлоо была бы проиграна».

Ясно, что Блюхеру давно пора было явиться.

Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-ле-Моп и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.

Еще в полдень император первый увидел в подзорную трубу нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там, вдали, облако; мне кажется, это войско», — сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт! Что вы видите в направлении Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил: «Четыре, а то и пять тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши!» Между тем все это

было неподвижно и тонуло в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем выстроиться боевым порядком; но в пять часов, при виде бедственного положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».

Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве за Наполеоном.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Гвардия

Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловым Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерия Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала — вступающая в бой гвардия.

Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.

Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот

самый момент, — а было восемь часов вечера, — тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.

Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван — все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили, но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших за плетнями, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и кровопролитная битва началась. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики:

«Спасайся, кто может!» — вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возраставшим градом снарядов, с каждым шагом теряя все больше людей. Тут не было ни робких, ни нерешительных, Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» — крикнул он Друэ д'Эрлону. Под сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хоте т бы, чтобы меня пробили все эти английские ядра!» Несчастный, ты уце-

лел, чтобы пасть от французских пуль!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Катастрофа

Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер.

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно — у Гугомона, Ге-Сента. Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» последовало: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся в смятении, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток — бегство; друзья убивают друг друга ради

собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и разбрызгиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот людской поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман — перед Ванделером, Лобо — перед Бюловым, Морапперед Пирхом, Домон и Сюбервик — перед принцем Вильгельмом Прусским, Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!», теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и мертвым. Руки разят наугад,

что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса — все запружено обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, — царит один невообразимый ужас. Там — Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там — львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!

В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение, но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома справа от дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, грозивший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дю-

гем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась истреблением побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.

Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то сложили оружие все эти великие души. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная, что сказать, что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. *Hoc erat in fatis*[11]. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо — это стержень, на кото-

---

[11] Примечания: 11
Так было суждено (*лат.*)

ром держится XIX век. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал бог.

В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в раздумье, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед — великий лунатик, влекомый погибшей мечтой.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Последнее каре

Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступавших, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный

от другого, лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.

В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине, у подножия песчаного склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало сражаться. Командовал им незаметный офицер, по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь по временам, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к затихающим мрачным громовым раскатам.

Когда от всего легиона осталась лишь горсточка, когда знамя этих людей превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда коли-

чество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял священный ужас перед полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся теснились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В темноте они слышали, как заряжают орудия, зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль — по словам одних, а по словам других — Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, в волнении крикнул: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «*Merde*!»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Камброн

Из уважения к французскому читателю это слово, быть может, самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не следует повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.

На свой страх и риск мы переступим этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан — Камброн.

Крикнуть это слово и затем умереть — что может быть величественнее? Ибо желать умереть — это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.

Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это Камброн.

Поразить подобным словом гром, который вас убивает, — это значит победить!

Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской

стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог победе грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников — это непостижимо!

Это значит оскорбить молнию. В этом есть эсхиловское величие.

Слово Камброна прозвучало как взрыв, сопровождающий образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; избыток смертной муки вызвал взрыв. Кто же победил?

Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в

ту минуту, когда он доведен до бешенства, ему предлагают это посмешище — жизнь. Ну как тут не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а за этой сотней тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, — и остался один Камброн; для протеста остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом величайшей и жалкой победы, перед победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, — изнемогая под гнетом многочисленности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это — значит быть победителем!

В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль

нашел Марсельезу, — это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, — этого было бы недостаточно, — он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.

В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали неподвижно, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон-Сен-Жан, на мокрой от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в

четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Qlot libras in duce?[12]

Сражений при Ватерлоо — загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона — это паника[13], Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснения сбивчивы. Одни запинаются, другие невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; только Шарас — хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся — уловил своим острым взглядом характерные черты катастрофы, которую потерпел человеческий ге-

---

[12] Примечания: 12
Какая цена полководцу? (*лат.*)

[13] Примечания: 13
«Оконченный бой, завершенный день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный назавтра, — все было потеряно из-за мгновения панического страха» (Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове св. Елены). (*Прим. авт.*)

ний в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.

В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.

Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера — значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо — всего лишь бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном — Байрон. Нашему веку присуще возникновение широкого круга идей, в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их природным свойством, оно вытекает из их

сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в XIX веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так после грозы вздувается ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели — эти игроки — могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, а воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.

Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.

Водружать там льва не стоило.

Впрочем, Ватерлоо — это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги — это противоположности. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего, очной ставки более необычной. С одной стороны — точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой — интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, сверхчеловеческий инстинкт, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством

стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон — это Барем войны, Наполеон — ее Микеланджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.

Оба кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши — тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера — тот прибыл.

Веллингтон — это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатишестилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея против себя все, а за себя — ничего, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на объединенные силы Европы и самым невероятным образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, рассеял одну за другой пять армий гер-

манского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобраться в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно

простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» — говорит: «болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам позволено вглядеться в них пристальней.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?

Существует весьма почтенная либеральная школа, которая не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо — лишь по-

разительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, явилось полной неожиданностью.

В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это — Европа против Франции; Петербург, Берлин, Вена — против Парижа; *status quo*[14] против дерзанья; 14-е июля 1789 года, штурмуемое 20 марта 1815 года; сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, — такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно

---

[14] Примечания: 14
застой (*лат.*)

неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо — в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, после Ватерлоо — в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол форейтора, а на шведский — сержанта, пользуясь неравенством для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом, а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, — оратора, Фуа повержен наземь у Гугомона — и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспосабливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком

— внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушавшим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная, победа была, в свою очередь, побеждена свободой.

Словом, бесспорно одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале: «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан нависло над Францией, словно над своей добычей, — все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи; она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.

Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы не было его целью. Контрреволюция была либеральной поневоле, так же как Наполеон благодаря сходному стечению обстоятельств был революционером поневоле. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Восстановление священного права

Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.

Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало во времена варваров. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого — контрреволюция, не хватило дыхания; оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания, но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем

— это ночь. Но когда эта ночь исчезла, наступило словно затмение.

Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в XIX веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз *non pluribus impar*[15] вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед,

---

[15] Примечания: 15

Превыше всего (*лат.*) — девиз Людовика XIV, «Короля-Солнца».

быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.

Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Из глубины Венсенского рва поднялась надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в том месяце, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был пленен, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».

1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая, нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с

1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так меняют кожу змеи.

Наполеон и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ — это пушечное мясо, влюбленное в своего канонира, — искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», — сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он — да умер? — воскликнул солдат. — Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась огромная, зияющая пустота.

И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз», — это было заранее предсказано

роковым полем Ватерлоо[16].

Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда — Свобода. Молодое поколение обратило к нему восторженный взор. Странное явление — увлекались одновременно и будущим — Свободой, и прошедшим — Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу. Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала св. Елены.

Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят

---

[16] Примечания: 16

Sainte Alliance — Священный союз: «Belle Alliance» «Прекрасный союз» — название постоялого двора и холма, места третьей стоянки Наполеона во время битвы под Ватерлоо.

тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.

Вот что такое Ватерлоо.

Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской Богоматери.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Поле битвы ночью

Вернемся — этого требует наша книга — на роковое поле битвы.

18 нюня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера; она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно иногда проследить это ужасное сообщничество ночи.

Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного — обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.

Изречение *Sic vos non vobis*[17] очень подходит к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жак был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено. Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.

Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть в войне устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть в ней, признаться,

---

[17] Примечания: 17

«Так вы не для себя...» (*лат.*) — начало стиха, который приписывался Вергилию.

и уродство. Одна из самых невероятных его форм — это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.

Кто совершает это? Кто порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиною славы? Некоторые философы, в том числе Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, — говорят они, — и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем — герой, ночью — вампир. Они, мол, имеют некоторое право обшарить того, кого собственными руками превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов — на это неспособна одна и та же рука.

Достоверно лишь, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, особенно солдаты современные.

За каждой армией тянется хвост, — вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники — полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в сумерках, которые именуются войной, люди,

облаченные в военные мундиры, по никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры — весь этот сброд волочился во время похода за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация за них не ответственны. Они говорили по-итальянски — и следовали за немцами, говорили по-французски — и следовали за англичанами. Один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на поле битвы под Серизолой в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн

был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж — дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.

Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали. Зловеще светила луна над этой равниной.

Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о ком мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж. На нем была блуза, смахивавшая на солдатскую

шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было — очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. Время от времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».

Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.

Вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоявшей у Нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-

то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Внизу лежала обагренная кровью земля, а луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. Ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые зацепившейся корой от падения, покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густой кустарник. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.

Издали неясно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.

Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом и напоминавшей рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.

Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге.

При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце невольно содрогается.

Если существует на свете что-либо ужасное,

если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, — и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»

Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и

лежали вровень с краями ложбины, как утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной — такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через Нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной стороны — со стороны Женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.

Ночной бродяга, которого мы видели мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал отвратительный смотр мертвецам. Он шагал по крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и человеческих останков выступала рука, освещенная луной.

На одном из пальцев этой руки что-то блестело;

то был золотой перстень.

Бродяга нагнулся, присел на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.

Собственно, он не встал — он остался на коленях, в неловкой позе оторопевшего человека, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при совершении некоторых действий.

Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.

Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.

— Гляди-ка! — сказал он. — Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милей выходец с того света, чем жандарм!

Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.

— Вот оно что! — пробормотал бродяга. — Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!

Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил

голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок по дороге во тьме если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если только это слово здесь подходит, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.

На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.

Бродяга сорвал его, и крест тут же исчез в одном из тайников его шинели.

Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.

Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.

— Спасибо, — пробормотал он слабым голосом. Резкость движений прикасавшегося к нему че-

ловека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.

Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышались шаги: вероятно, приближался патруль.

— Кто выиграл сражение? — чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.

— Англичане, — ответил грабитель.

Офицер продолжал:

— Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе. Это было уже сделано. Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:

— Карманы пусты.

— Меня ограбили, — сказал офицер — Жаль! Это досталось бы вам.

Шаги патрульных слышались все отчетливее.

— Кто-то идет, — прошептал бродяга, собираясь встать.

Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:

— Вы спасли мне жизнь. Кто вы?

Грабитель быстрым шепотом ответил:

— Я. как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь.

Теперь сами выпутывайтесь из беды как знаете.

— В каком вы чине?

— Сержант.

— Ваша фамилия?

— Тенардье.

— Я не забуду — сказал офицер. — А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.

КНИГА ВТОРАЯ
КОРАБЛЬ «ОРИОН»
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Номер 24601 становится номером 9430

Жан Вальжан был опять арестован.

Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся тем, что приведем две краткие заметки, опубликованные в газетах несколько месяцев спустя после удивительного происшествия в Монрейле-Приморском.

Это короткие заметки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало Судебной газеты.

Первую заметку мы заимствуем из газеты Белое знамя. Она датирована 25 июля 1823 года.

«Один из округов Па-де-Кале явился ареной необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад, благодаря новым способам производства, возобновил старинный местный промысел — выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил округ. За его заслуги он был избран мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой превышавший полмиллиона вклад; эту сумму он нажил, как говорят, вполне законно, на своем предприятии. Узнать, куда он ее спрятал, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».

Вторая, более подробная заметка взята из Парижской газеты от того же числа.

«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции, он переменил имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста скончалась от душевною потрясения. Этот негодяй, обладающий силой Геркулеса нашел способ бежать, но спустя три или четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между селом Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался

несколькими днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков Согласно обвинительному акту он запрятал деньги в таком месте, которое было известно ему одному, и конфисковать деньги не удалось. Как бы то ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Барского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —

Приходят из Савойи каждый год

И сажею забитый дымоход.

Искусно в вашем доме прочищают.

Бандит отказался от защиты В мастерски построенном и красноречивом

выступлении государственного прокурора доказывалось, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, по бесконечному милосердию своему, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же отправлен в Тулон на галеры».

Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, в частности Конституционалист, изобразили смягчение приговора как торжество партии духовенства.

Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал называться номером 9430.

Чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, заметим, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбы-

лось: не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался жестокий дележ, неизбежный при крушении выдающегося человека, роковой распад процветавшего дела, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили край, другие оставили ремесло. Все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал — и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания тотчас сменился духом борьбы, сердечность — черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора — взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт,

заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.

Даже государство заметило, что где-то кого-то не стало. Меньше чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и в феврале 1827 года г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление.

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой читатели найдут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом

Прежде чем продолжить нашу повесть, мы считаем нелишним рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.

В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой

непосредственной близости от Парижа — это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто чтит все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в лесной глуши, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы — огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый — приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты увидишь, что этот человек — обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, — просто-напросто торчащие у него за спиной вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и через неделю умираешь. Второй способ — наблюдать за ним,

дождаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты умрешь через месяц. Наконец, третий способ — совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног, Тогда ты проживешь до года.

Все три способа имеют свои неудобства, но второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают счастье, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если верить преданию, и особенно — двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.

Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь,

роешь, трудишься целую ночь (это делается ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» — твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:

> *Fodit, et in fossa thesauros condit opaca*
>
> *As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque.*[18]

Как будто и теперь еще там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает, но следует принять во внимание, что Трифон жил в XII веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты-до Карла VI.

---

[18] Примечания: 18

Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто. (*лат.*)

Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрываться прямо вам в лицо.

Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этом самом сельце заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В тех краях поговаривали, будто Башка был когда-то на каторге; он находился под наблюдением полиции, а так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за низкую плату на починку шоссе между Ганьи и Ланьи.

На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтителен, слишком смирен, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Подозревали его в связи с разбойничьей шайкой, в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяница.

А заметили за ним вот что.

С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил со своей киркой в лес. Его встречали под вечер на пустынных лужайках, в лесной чаще. где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал постороннего взора и что в его поступках кроется тайна.

В селе говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. У кого, у кого, а у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». Вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка Сатану или Сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.

Однако блуждания Башки по лесу кончились, и он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.

Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, — не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, а какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем

банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий, несомненно, разгадал. Больше всех заинтересовались этим школьный учитель и трактирщик Тенардье, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.

— Правда, он был на каторге, — говорил Тенардье. — Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!

Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой.

— Подвергнем его пытке вином, — сообразил Тенардье.

Оба приложили все старания, чтобы напоить старого бродягу. Башка выпил много, но сказал мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также объединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные выражения, Тенардье и школьный учитель представили себе такую картину.

Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эта лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился. Однако вечером, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, что по дороге, ведущей в глубь леса, идет «один человек, не из местных жителей, которого он, Башка. прекрасно знал». В переводе Тенардье это означало: товарищ по каторге. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или сундучка. Башка удивился. Только несколько минут спустя ему пришло на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно: тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была лунная». Спустя не то два, не то три часа Башка увидел, что из кустарника вышел тот самый человек, и нес он уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, даже не заговорив с ним, ибо знал, что этот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит или если увидит, что и его

узнали. Трогательное выражение чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но ничего не нашел. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, то, значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно!

Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали об этом забывать. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы потом разбить его одним ударом молотка

В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, что после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.

Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело внушительное впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался — теперь уже не помню, какой — флаг; в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов; «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно правилам этикета, а также установленному порядку на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и заходе солнца,

при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Если считать, что каждый пушечный выстрел стоит шесть франков, то это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны»

Эта война заключала в себе много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов, о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, — иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о его светлости герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, не вязавшейся с его безмятежным обликом, укрощал старый реальный террор инквизиции, схватившийся с химерическим террором либералов; о воскресших, к великому

ужасу знатных вдов, санкюлотах, под именем *descamisados*[19]; о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий 89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне — впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув к своему мундиру гренадерские, красной шерсти, эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; о духе свободы и нововведений, усмиренном штыками, о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано ее

---

[19] Примечания: 19
Безрубашечники (*ист.*)

мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, здесь был позор для некоторых, а славы не было ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная, участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики.

Эта война насчитывает несколько серьезных операций, — взятие Трокадеро является одной из блестящих военных побед; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот лжетриумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось,

здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк».

Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагоса, в 1823 году хмурились оттого, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Бальестероса.

Еще важнее то обстоятельство, что, оскорбляя дух французской армии, война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие! Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе — это французская революция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» — воскликнул Бонапарт.

Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную

испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И творила это чудовищное насилие Франция; правда, по принуждению, ибо, за исключением войн освободительных, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» — вот что определяет их действия. Армия представляет собою странный шедевр расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества и вопреки человечеству.

Для Бурбонов война 1823 года была роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем ее запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантюр «священного права». Франция, восстановив *el rey neto*[20] в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую

[20] Примечания: 20

Единственно достойный король (*исп.*) — формула испанского абсолютизма.

власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансенилового дерева, ни под крылом армии.

Но возвратимся к кораблю «Орион».

Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.

Появление военного корабля в гавани таит в себе некую притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище величественно, а толпа любит все величественное.

Линейный корабль, борющийся со стихией, — пример одного из прекраснейших столкновений человеческого гения с могуществом природы.

Линейный корабль представляет собой сочетание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, да самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться с тремя состояниями вещества сразу — твердым, жидким и газообразным — и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и

надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа — компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн — дерево, против скал — железо, медь и свинец, против мрака — свет, против беспредельного простора — магнитная стрелка.

Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестиэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка — рея; массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, — грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести

семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас — якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? — спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий плавучий лес.

Кроме того, надо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В наше время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил.

Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собою один из величайших образцов

человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятной водной равнины, оно плывет, оно царит.

Но наступает час, когда буря переламывает рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.

Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкутся около удивительных орудий войны и мореходства.

И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза Тулонской гавани были

усеяны толпами праздношатающихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дело, что глазеть на «Орион».

Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои ракушек, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить их, а затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на гальюне, а также повредил руслени фок-мачты. Вследствие этих повреждений «Орион» возвратился в Тулонскую гавань.

Он бросил якорь около Арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля не был поврежден, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.

Однажды утром толпа, глазевшая на корабль.

оказалась свидетельницей несчастного случая.

Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.

Помочь ему — значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос — все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки — не отважился на это. Несчастный марсовой устал; разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было невозможно, но по всем его движениям было ясно, что силы у него иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждая его попытка подтянуться только усиливала колебание снасти. Он не кричал, чтобы не изнемочь окончательно. Все ожидали, что

он вот-вот выпустит веревку, и время от времени отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка олицетворяют собою жизнь; страшно видеть, как отделяется от них живое существо и падает, словно спелый плод.

Вдруг все заметили человека, карабкающегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде — значит, каторжник; на нем была зеленая шапка — значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот был немолод.

Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. Никто не заметил, как легко была разбита цепь. Вспомнили об этом впоследствии.

В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось,

взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую захватил с собою, а другой оставил висеть свободным, затем начал на руках скользить по веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.

Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова; все трепещут, у всех сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.

Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул К себе наверх матроса. С минуту он

подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рее до эзельгофта, а оттуда до марса, и тут передал его на руки товарищей.

Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»

А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него. И тут толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль-каторжник упал в море.

Падение грозило ему гибелью. Фрегат «Альхесирас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их; всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лот, ныряли.

Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.

На следующий день в тулонской газете появилась заметка: «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту „Ориона“, спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части Арсенала. В тюремных списках человек этот числился под № 9430, имя его — Жан Вальжан».

КНИГА ТРЕТЬЯ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ, ДАННОГО УМЕРШЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Теперь это довольно большой торговый городок, украшенный выбеленными виллами, а по воскресным дням — жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества

белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это было всего лишь сельцо, затерянное среди лесов. Правда, здесь кое-где попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был всего лишь сельцом. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхавшие на даче судейские еще не набрели на него. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели деревенский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как сельцо стояло на высоком месте.

За водой приходилось идти довольно далеко. Конец села, который ближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из родничка на склоне горы, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой

семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды старичку, который исполнял обязанности водовоза в Монфермейле и зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Мысль о воде приводила в ужас несчастное создание, которое читатель, может статься, не забыл, — маленькую Козетту. Вспомните, что держать Козетту было выгодно супругам Тенардье по двумя причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает, почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной мысли, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно торжественно. В первую

половину зимы погода стояла мягкая; не было еще ни морозов, ни метелей. Приехавшие из Парижа фокусники получили у мэра разрешение поставить балаганы на главной улице, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на Церковной площади до самой улицы Хлебопеков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю в спокойную жизнь глухого села. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу *Caracara Polyborus*; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Старые бравые солдаты-бонапартисты, жившие на покое в селе, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что трехцветная кокарда — явление исключительное, созданное

богом для их зверинца.

В сочельник возчики и странствующие торговцы сидели в харчевне Тенардье вокруг стола, на котором горели свечи. Харчевня ничем не отличалась от любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки; пьяницы, курильщики; мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в жарко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых была война в Испании и его светлость герцог Ангулемский, в шуме голосов можно было различить замечания, имевшие чисто местный интерес:

— Вон сколько выжали вина в Нантерском и Сюренском округах! Кто считал, что получит бочек десять, получил двенадцать. Из-под давила ручьями текло. — Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? — В тех местах не надо ждать, пока поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. — Стало быть, это совсем слабое вино? — У них вина еще слабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т.д.

Слышались выкрики мельника:

— Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается всякая всячина, копаться с ней нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набиты гвозди. Посудите сами, сколько трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы не виноваты.

Косарь, сидевший у простенка за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

— Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна. Но все одно, трава эта ваша молоденькая и пока что неподатливая. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т.д.

Козетта сидела на своем обычном месте: на перекладине кухонного стола около очага. В

лохмотьях, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и звонкие голоса Эпонины и Азельмы.

В углу, возле печки, на гвозде висела плеть.

Порой в харчевню врывался пронзительный плач ребенка. Это кричал сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, — говорила она, — наверно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». «А ну его! Надоел он мне!» — отзывалась мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Возраст г-жи Тенардье приближался к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женою не было разницы в возрасте.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с супругой Тенардье сохранил еще некоторые воспоминания об этой белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, подвижной дылде. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она все делала по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала — одним словом, была и грозой, и ясным днем, и злым духом этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта — мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке ее голоса: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не

пришло бы в голову назвать ее женщиной. Она представляла собой сочетание рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали «Это жандарм»; понаблюдав, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик», увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий, тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал несокрушимым здоровьем, — с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он всем напоказ пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его допьяна. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой — старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и притом материалиста. Чтобы придать своим словам вес, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у

него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Такая разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один против целого эскадрона «гусар смерти» прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить свой дом блестящей вывеской, а окрестному люду — прозвать его харчевню «кабачком сержанта Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В селе толковали, что он когда-то готовился в священники.

Однако мы полагаем, что готовился он всегонавсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии фламандцем из Лилля, в Париже — французом, в Брюсселе — бельгийцем и чувствовал себя как дома по обе стороны границы. Его подвиг под Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитроумные уловки, рискованные предприятия — из этого состояла его жизнь; нечистая совесть влечет за собой треволнения. Не лишено вероятности,

что в бурные времена, связанные с 18 июня 1815 года, Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, всюду разъезжая, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей — муж, жена и дети — в какой-нибудь тележке, запряженной хромоногой лошаденкой, за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

«Деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, все же не могли обеспечить его надолго.

В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он осенял себя крестом. Это был краснобай, который выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он

не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владевший собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид мошенников — наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что Тенардье был не способен прийти в такую же ярость, как и его жена, что, впрочем, бывало с ним не столь уж часто. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь, подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или

молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде бы то нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего, щурясь, смотреть в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.

Всякий входящий первый раз в его харчевню при взгляде на жену Тенардье говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И хозяином и хозяйкой был ее супруг. Она лишь исполняла, придумывал он. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда лишь знака, и мастодонт повиновался. Для г-жи Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если б и возник у нее разлад с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, немыслимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не стала ему перечить. Она никогда не совершала ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя их единодушие имело конечной целью зло, но в покорности жены своему мужу таилось благоговейное преклонение. Эта

гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; иные формы уродства имеют право существовать даже в недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была существом, способным внушать страх; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина — тот был поглощен одной мыслью: разбогатеть.

Однако это ему не удавалось. Для такого великого таланта не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни

забросила судьба, ему надо было прокормиться.

Само собой разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в узком смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году у Тенардье накопилось около полутора тысяч франков неотложных долгов, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа людей, которые прекрасно понимали то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных — товаром, иначе говоря, гостеприимство понимали в самом глубоком и современном значении этого слова. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся боем своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него фейерверками взлетали исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, — толковал он ей однажды яростным шепотом, — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать

тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну; почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, — омерзительный и ужасный союз.

Муж раздумывал и соображал, а жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, она жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по своему: Козетту избивали до полусмерти — в этом виновата была жена; она ходила зимой босая — в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице,

мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была она слабосильна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней! Свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой билась и запутывалась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ рабства. Это была мушка в услужении у пауков.

Бедный ребенок все терпел и молчал.

Что же происходит в этих младенческих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, столь беззащитные, оказываются среди таких людей?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Людям — вино, а лошадям — вода

Приехали еще четыре путешественника.

Козетту одолевали тяжкие думы; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта

девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же на секунду девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и отвернула кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

— Вот тебе на! — проговорила хозяйка. — Воды больше нет! — И замолчала. Девочка затаила дыхание. — Ничего! — продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. — Хватит!

Козетта снова взялась за работу, но больше

четверти часа чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую погоду без фонаря только кошке по двору шататься». И Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубым голосом крикнул:

— Почему моя лошадь не поена?

— Как не поена? Ее поили, — ответила Тенардье.

— А я говорю — нет, хозяйка! — возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

— Сударь! Право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

— Вот тоже выискалась: от горшка два вершка, а наврала с целую гору! — воскликнул торговец. — Говорят тебе, дрянь ты этакая, лошадь не пила!

Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки знаю.»

Козетта стояла на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

— Пила, вволю пила.

— Врешь! — завопил торговец. — Не пила. Сейчас же дать ей воды!

Козетта залезла обратно под стол.

— Что верно, то верно, — сказала трактирщица, — если скотина не поена, ее надо напоить.

Она огляделась по сторонам:

— А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, почти под ногами посетителей.

— Ну-ка вылезай! — крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

— Ты, щенок! Ступай напои лошадь!

— Сударыня! — робко возразила Козетта. — Воды-то ведь больше нет!

Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:

— Беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла свободно поместиться в нем.

Трактирщица опять подошла к очагу, зачерп-

нула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, попробовала и проворчала:

— Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело! А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

— На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб! Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

— Ну, живей! — крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло

«чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной столь богатой или расточительной матери, которая купила бы эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею; даже Козетта, правда — украдкой, нет-нет, да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Лавочка показалась ей двор-

цом, а кукла — сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такою «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала; «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаза от волшебной лавки. Чем дольше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Ей казалось, что она видит рай. За большой куклой сидели куклы поменьше, и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

— Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей

тут нужно? Погоди у меня, уродина! — кричала Тенардье; выглянув в окно, она увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Малютка одна

Харчевня Тенардье находилась в той части села, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопеков и мимо церкви, путь освещали ей огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ей стало страшно, поэтому она изо всех сил громыхала ведром. Этот шум разгонял ее одиночество.

Мрак становился все гуще. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина; поравнявшись с девочкой, она пробормотала:

— Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?

Всмотревшись, женщина узнала Козетту:

— Гляди-ка! — сказала она. — Да это Жаворонок!

Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, на котором обрывается Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. Время от времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи — то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как это свойственно испуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! — воскликнула она — Я

ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Однако, сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь ей представилась тетка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди — призрак хозяйки, позади — духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из села она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, она продолжала свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.

Ее охватил ночной шум леса. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны — всеобъемлющий мрак; с другой — пылинка.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала — она ходила по ней несколько раз в день.

Странное дело: она не заблудилась! Остаток инстинкта незаметно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарнике. Так она дошла до родника.

Это было узкое естественное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», выложенное большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила на траву.

Тут она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось вернуться обратно, но

наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей надо было отдохнуть. Она присела на корточки и замерла.

Козетта закрыла глаза, потом опять открыла; она не понимала, для чего она это делает, но не открыть и не закрыть глаз она не могла. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Небо над ее головой было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими полотнища дыма. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, и звезда пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Казалось, то была пламенеющая рана.

С равнины дул холодный ветер. Мрачен был лес, не шелестели листья и не брезжил тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый,

уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Вырванный сухой вереск, гонимый ветром, пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.

От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, тот чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью не проходит один по лесу без страха. Тени и деревья — два опасных сгустка темноты. В неясной глуби возникает призрачная действительность. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве — или в мозгу — проплывает нечто смутное и неуловимое, словно мечты задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, ко-

торые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи — отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное колыхание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, — перед всем этим чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса — обители тайны и ужаса, трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не

понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею — бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была ее боязнь хозяйки, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватилась обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелое, и она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватилась за ведерную дужку. На этот раз она прошла дольше, но скоро ей пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понурив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; время от времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из

ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в лесу, зимней ночью, вдали от человеческого взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это душераздирающее зрелище.

Увы! Видела это, конечно, и ее мать!

В мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания давили ей горло, но плакать она не смела — так боялась она хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Идя очень медленно, она почти не продвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться В Монфермейль, и что Тенардье опять прибьет ее. Тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Дойдя до знакомого старого каштана, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, а затем, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, которая, пожалуй доказывает сообразительность башки

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитав самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как своей одеждой, так и всем своим обликом

он воплощал тот тип, который можно назвать типом благородного нищего. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью — довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто так беден и так полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темно-желтого сукна, — в те времена этот цвет не казался странным, — закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, прорезанному морщинами лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу, свидетельствовавшему о пережитых страданиях, можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но судя по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, чувствовавшейся во всех движениях, ему нельзя было дать и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его

сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он что-то нес в носовом платке, правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно оструган и не казалась слишком грубой; сучки были обрублены, набалдашник сделан из красного сургуча — под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа — вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие сторонились, — проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика

XVIII на улицах Парижа производило впечатление. Оно было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; он был не в силах ходить, и ему хотелось мчаться; этот хромой человек охотно взнуздал бы молнию. Спокойный и суровый, он проезжал среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, здоровое, румяное лицо, свеженапудренные волосы со взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисавшей на штатское платье, орден Золотого руна, крест св. Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Святого Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, он надевал ее и редко отвечал на приветствия. Он холодно глядел на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то успех,

который он там имел, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не знал этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он оказал его величеству: «Подозрительная личность!» Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и, так как уже начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних

дел и префекта полиции графа Англеса.

Сбив полицейского со следа, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но он не раз еще оглянулся, желая убедиться, что за ним никто не идет. В четверть пятого, то есть когда уже совсем стемнело, он проходил мимо театра Порт-Сен Мартен, где в этот день давали пьесу Два каторжника. Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо поразила его; он опешил, но тут остановился, чтобы прочитать ее. Немного погодя он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана. Пешеход спросил:

— Есть свободное место?

— Только одно, рядом со мной, на козлах, — ответил кучер.

— Я беру его.

— Садитесь.

Но, прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал платы вперед.

— Вы едете до Ланьи? — спросил кучер.

— Да, — ответил тот.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать лошадей.

Он закутался в плащ. Было холодно. Пассажир, казалось, не замечал ничего. Проехали Гурне и Нельи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

— Я сойду здесь, — сказал пассажир.

Он взял свой узелок и палку и соскочил с дилижанса.

Минуту спустя он исчез из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова двинулся по направлению к Ланьи, то не встретил этого человека на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

— Этот человек не здешний, я его не знаю, — сказал он. — У него такой вид, точно он без гроша

в кардане, а между тем не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе, как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, — он бодро шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, — можно было подумать, что он прекрасно знает его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстрым шагом пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, обсаженное деревьями шоссе из Ганьи в Ланьи, он услыхал шаги Укрывшись во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Две-три звездочки сияли на небе.

В этом месте начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял правее и полями скоро дошел до леса.

В лесу он замедлил шаг и стал присматриваться к каждому дереву, словно искал что-то и держался таинственной, ему одному известной дороги. Вдруг ему показалось, что он сбился с пути, и он в

нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался до прогалины, где лежала груда больших белевших в темноте камней. Подойдя к ним, он окинул их зорким взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева — это был ясень — рос каштан, болевший отпадением коры. Взамен повязки к нему была прибита цинковая пластинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до нее.

Он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрыта.

Потом осмотрелся и пошел лесом.

Это и был тот человек, который встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь кусты по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была маленькая девочка, еле тащившая огромное

ведро с водой. Он мгновенно очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Козетта в темноте, бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.

Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

— Дитя мое! Твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

— Да, сударь.

— Дай, я понесу, — сказал он.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

— Это действительно очень тяжело, — пробормотал он и спросил: — Сколько тебе лет, малютка?

— Восемь лет, сударь.

— И ты идешь издалека?

— От ручья, который в лесу.

— А далеко тебе еще идти?

— Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спро-

сил:

— Значит, у тебя нет матери?

— Я не знаю, — ответила девочка и, прежде чем он успел снова заговорить, добавила: — Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. Наверно, никогда и не было, — помолчав, сказала она.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи девочки, стараясь в темноте разглядеть ее лицо.

Худенькое, жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете.

— Как тебя зовут?

— Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал.

Спустя мгновение он опросил:

— Где ты живешь, малютка?

— В Монфермейле, — может, вы знаете, где это?

— Мы идем туда?

— Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

— Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

— Госпожа Тенардье.

— А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается? — спросил незнакомец; он старался говорить равнодушным тоном, но голос у него как-то странно дрожал.

— Она моя хозяйка, — ответила девочка — Она содержит постоялый двор.

— Постоялый двор? — переспросил путник — Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.

— А ведь мы туда идем, — ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то удивительным спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на радость и надежду, устремленную к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

— Разве у госпожи Тенардье нет служанки?

— Нет, сударь

— Разве ты у нее одна?

— Да, сударь.

Снова наступило молчание. Потом Козетта сказала:

— Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

— Какие маленькие девочки?

— Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

— Кто же они, эти Понина и Зельма?

— Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто ее дочери.

— А что же они делают?

— О! — воскликнула Козетта — У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

— Целый день?

— Да, сударь.

— А ты?

— А я работаю.

— Целый день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

— Да, сударь.

Помолчав, Козетта добавила:

— Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

— Как же ты играешь?

— Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла в их куклы. У меня есть только оловянная сабелька, вот такая.

Девочка показала мизинчик.

— Ею ничего нельзя резать?

— Можно, сударь, — ответила девочка, — например, салат и головы мухам.

Они дошли до села; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее — теперь он хранил мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

— Тут что же, ярмарка?

— Нет, сударь, это Рождество.

Когда они подходили к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки.

— Сударь!

— Да, дитя мое?

— Вот мы уже совсем близко от дома.

— И что же?

— Можно мне теперь взять у вас ведро?

— Зачем?

— Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О том, как неприятно впускать в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица со свечой в руке.

— А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

— Сударыня! — задрожав, сказала Козетта. — Этот господин хочет переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой, — это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, чтобы разглядеть вновь прибывшего.

— Это вы, сударь?

— Да, сударыня, — ответил человек, дотронувшись рукой до шляпы.

Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также беглый осмотр одежды н багажа путешественника, который произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, сменившуюся прежним угрюмым выражением.

— Входите, милейший, — сухо сказала г-жа Тенардье.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особое внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в таких случаях означало у него: «Голь перекатная».

— Ах, любезный! — воскликнула трактирщица. — Мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

— Поместите меня, куда вам будет угодно — на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную

комнату, — сказал путник.

— Сорок су.

— Сорок су? Ну что ж!

— Ладно!

— Сорок су! — шепнул один из возчиков кабатчице. — Да ведь комната стоит всего-навсего двадцать!

— А ему она будет стоить сорок, — ответила она тоже шепотом. — Дешевле я с бедняков не беру.

— Правильно, — кротко заметил ее муж, — пускать к себе такой народ — только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился поить ее. Козетта опять уселась на свое обычное место под кухонным столом и взялась за вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив, с каким-то особым вниманием стал разглядывать ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливым ребенком, она была бы миловидна. Мы уже бегло набросали этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная

девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки рта были опущены с тем выражением привычного страданья, которое бывает у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». При свете, падавшем на Козетту и подчеркивавшем ее ужасающую худобу, отчетливо были видны ее торчащие кости. Ее постоянно знобило, и от этого у нее образовалась привычка плотно сдвигать колени. Ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала дырявая холстина; ни лоскутка шерсти! Там и сям просвечивало голое тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна-следы прикосновения хозяйской длани. Тонкие ножки покраснели от холода. В глубоких впадинах над ключицами было что-то до слез трогательное. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест-все выражало и обличало одно: страх.

Козетта была вся проникнута страхом, он как бы окутывал ее. Страх вынуждал ее прижимать

к груди локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков таился ужас.

Этот страх был так велик, что, хотя Козетта вернулась домой совершенно мокрая, она не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько принялась за работу.

Взгляд восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные минуты казалось, что она недалека от слабоумия или от помешательства.

Мы уже упоминали, что она не знала, что такое молитва, никогда не переступала церковного порога. «Разве у меня есть для этого время?» — говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

— Постой! А хлеб где?

Стоило хозяйке повысить голос, и Козетта, как всегда, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла о хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала.

— Сударыя! Булочная была уже заперта.

— Надо было постучаться.

— Я стучалась, сударыня.

— Ну и что же?

— Мне не отперли.

— Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, — сказала Тенардье, — и если соврала, то ты у меня запляшешь. А покамест дай сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки там не было.

— Ну! — крикнула трактирщица. — Оглохла ты, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.

— Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? — прохрипела Тенардье. — А может, ты вздумала их украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы.

— Простите! Простите! Я больше не буду! — закричала она.

Тенардье сняла плеть.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили,

играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

— Виноват, сударыня, — вмешался неизвестный, — я только что видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилось по полу. Не эти ли деньги?

Он наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

— Так и есть, вот она, — сказал он, выпрямляясь, и протянул тетке Тенардье серебряную монетку.

— Она самая! — воскликнула тетка Тенардье. Отнюдь не «она самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то

безотчетная доверчивость.

— Ну как, будете ужинать? — спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

— Кто он, этот человек? — процедила она сквозь зубы — Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову красть деньги, валявшиеся на полу.

Тут дверь отворилась, и вошли Эпонина и Азельма.

Это были две хорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, премиленькие, одна — с блестящими каштановыми косами, другая — с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Кроме того, они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили,

чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливо, но с обожанием:

— А, вот, наконец, и вы пожаловали!

Притянув поочередно каждую к себе на колени, мать пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила.

— Хороши, ничего не скажешь! — воскликнула она.

Девочки уселись в углу, возле очага. Они принялись тормошить куклу, укладывали ее то у одной, то у другой на коленях и весело щебетали. Время от времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам вместе не было и двадцати четырех лет, но они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны — зависть, с другой — пренебрежение.

Кукла у сестер Тенардье была полинявшая, старая, поломанная, но Козетте она казалась восхитительной — ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, — это выражение понятно всем детям.

Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить

взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

— А вот я тебя и поймала! — крикнула она. — Так-то ты работаешь? Погоди, вот возьму плетку, она тебя заставит работать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

— Сударыня! — улыбаясь почти робко, промолвил он. — Ну что уж там, пусть поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был такой редингот, смел выражать свою волю, — этого трактирщица допустить не могла.

— Раз девчонка ест мой хлеб, она должна работать, — резко сказала она. — Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

— Что же это она делает? — спросил незнакомец мягким тоном, какого трудно было ожидать от человека, одетого, словно нищий, с плечами, широкими, словно у носильщика.

Трактирщица снизошла до того, что ответила ему:

— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Старые все, можно сказать, износились. Скоро мои дочки останутся босые.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

— Когда же она окончит эту пару?

— Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре. Этакая лентяйка!

— Сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

— Не меньше тридцати су.

— А вы бы уступили их за пять франков? — снова спросил человек.

— Черт возьми! — засмеявшись грубым смехом, вскричал возчик, слышавший этот разговор. — Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардье решил, что пора ему вмешаться в разговор.

— Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы ни в чем не отказываем путешественникам.

— Но денежки на стол! — резко и решительно заявила его супруга.

— Я покупаю эти чулки, — ответил незнакомец и, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: — И плачу за них.

Потом он повернулся к Козетте!

— Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

— И вправду, гляди-ка! — воскликнул он. — Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

— Сударыня! Это правда? Я могу поиграть?

— Играй! — в бешенстве крикнула тетка Тенардье.

— Спасибо, сударыня, — молвила Козетта.

Уста ее благодарили хозяйку, а ее маленькая душа возносила благодарность незнакомцу.

Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

— Кто он, этот желтый человек?

— Мне приходилось встречать миллионеров, которые носили такие же рединготы, — с величественным видом ответил Тенардье.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на происходившее вокруг. Они только что успешно завершили ответственную операцию — завладели котенком. Бросив на пол куклу, Эпонина, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье н судорожные движения. Поглощенная этой важной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, как только ты попытаешься запечатлеть его.

— Знаешь, сестричка, вот эта кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она

будет моей дочкой. Я буду мама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты увидишь ее усики и удивишься. А потом увидишь ее ушки, а потом хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь; «Боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпонину.

Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпонина пеленали котенка, Козетта пеленала саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла — одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов у девочек. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто есть некто, — в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, готовя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платьица, лифчи-

ки и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка — в девушку, девушка — в женщину. Первый ребенок — последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, — решила она, — может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

— Сударь... — сказала она.

При слове «сударь» незнакомец обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».

— Видите ли, сударь, — продолжала она (ее слащавая вежливость была еще неприятней ее грубости), — мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я ничего не имею против, если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

— Значит, это не ваш ребенок? — спросил незнакомец.

— Что вы, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У

нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уж полгода, как мы пишем к ней на родину, а нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

— Вот как! — проговорил незнакомец и снова задумался.

— Хороша же была эта мать! — добавила трактирщица. — Бросила родное дитя!

В продолжение этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз с хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз.

Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда были приплетены Пресвятая дева и младенец Иисус. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать подобие младенца в пеленках, которое она соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

Уступая настояниям хозяйки, «желтый че-

ловек», «миллионер», согласился, наконец, поужинать.

— Что прикажете вам подать, сударь?

— Хлеба и сыру, — ответил он.

«Наверно, нищий», — решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу, которую девочки Тенардье позабыли, занявшись котенком, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Она выпустила из рук запеленутую саблю, которая не могла удовлетворить ее вполне, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с котенком; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, — на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было редким для нее

— оно таило в себе неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме незнакомца, медленно жевавшего хлеб с сыром — из этого состоял весь его скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выступила из мрака, и теперь ее освещал яркий огонь очага. Эта розовая, блестящая нога поразила взгляд Азельмы, и она сказала Эпонине:

— Гляди-ка, сестрица!

Девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпонина встала и, не отпуская котенка, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

— Да оставь ты меня в покое! Ну! Что тебе надо? — спросила мать.

— Мама! — сказала девочка. — Посмотри!

Она показала пальцем на Козетту.

А Козетта, в порыве восторга, ничего не видела и не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое возникает по пустякам и за которое такие женщины получают прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все гра-

ницы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет голубую орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

— Козетта!

Козетта вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

— Козетта! — повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и со смешанным чувством благоговения и отчаяния осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки и — страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка! — заломила их. Наконец пришло то, чего не вызвало у Козетты ни путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни плетка, ни зловещие слова хозяйки, — пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Незнакомец встал из-за стола.

— Что случилось? — спросил он.

— Да разве вы не видите? — воскликнула кабатчица, указывая на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

— Ну и что же? — снова спросил человек.

— Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! — ответила Тенардье.

— И только-то? — сказал незнакомец. — Что ж тут такого, если она даже и поиграла в эту куклу?

— Она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! — продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

— Да замолчишь ты наконец! — крикнула тетка Тенардье.

Незнакомец направился к входной двери, открыл ее и вышел.

Как только он скрылся, кабатчица, воспользовавшись его отсутствием, так пнула ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, незнакомец появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

— Возьми это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел разглядеть игрушечную лавку, до того ярко освещенную плошками и свечами,

что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, — казалось, она не осмеливалась дышать.

Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли как истуканы. Пьяницы, и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое — то есть вор?»

На лице супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение.

Подойдя к жене, он шепнул:

— Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластайся перед этим человеком!

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

— Ну что ж ты, Козетта, — сказала тетка Тенардье кисло-сладким тоном, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, — почему ты не берешь куклу?

Только тут Козетта осмелилась выползти из своего угла.

— Козетточка! — ласково подхватил Тенардье. — Господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с ужасом. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы вдруг ей сказали: «Малютка! Ты — королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство. Ей казалось, что как только она дотронется до куклы, ударит гром.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта, наконец, приблизилась к кукле и, обернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

— Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, в котором слышались отчаяние, испуг и восхищение.

— Понятно, можно! — ответила кабатчица. — Она твоя. Господин дарит ее тебе.

— Правда, сударь? — переспросила Козетта. — Разве это правда? Она моя, эта дама?

Глаза у незнакомца были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту у нее высунулся язык. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.

— Я буду звать ее Катериной, — сказала она. Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и слились с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.

— Сударыня! А можно мне посадить ее на стул? — спросила она.

— Можно, дитя мое, — ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.

— Играй же, Козетта! — сказал незнакомец.

— О, я играю! — ответила девчурка.

Этого проезжего, этого неизвестного, которого, казалось, само провидение послало Козетте, кабатчица ненавидела сейчас больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать мужу, это было свыше ее сил. Она поспешила отправить дочерей спать и спросила у желтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», — с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта ушла спать, унося в объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более злобными, что не решалась произносить их громко.

— Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы

эта маленькая уродина играла! Дарит ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваша светлость», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Или совсем уже рехнулся, старый дурак?

— Ничего не рехнулся! Все это очень просто, — возразил Тенардье. — А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина — филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот, ни другой не терпели возражений.

Неизвестный облокотился на стол и снова задумался. Прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Прошло несколько часов. Полунощница отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, комната опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте и в той же позе. Порой он только менял руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор, как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия остались в комнате.

— Всю ночь он, что ли, собирается так провести? — ворчала Тенардье.

Когда пробило два, она сдалась.

— Я иду спать, — заявила она мужу. — Делай с ним что хочешь.

Супруг присел к столу, зажег свечу и начал читать *Французский вестник*.

Так прошел час. Почтенный трактирщик прочел по крайней мере раза три *Французский вестник* от даты выхода и до фамилии издателя. Незнакомец не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек остался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» — подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло отвлечь его от дум.

Наконец Тенардье, сняв колпак, осторожно подошел к нему и осмелился спросить:

— Не угодно ли вам, сударь, идти почивать? Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась пышность и вместе с тем почтительность. Такие слова обладают таинственным, замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

— Да, — сказал незнакомец, — вы правы. Где ваша конюшня?

— Сударь! — усмехаясь, произнес Тенардье. — Я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял узелок и палку, и Тенардье повел его в комнату на первом этаже, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в виде лодки и занавески из красного коленкора.

— Это что такое? — спросил путник.

— Это наша спальня, — ответил трактирщик. — Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

— Мне больше по душе конюшня, — резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого

неучтивого замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно яркий огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и цветов померанца.

— А это что такое? — спросил незнакомец

— Это подвенечный убор моей супруги, — ответил Тенардье.

Незнакомец окинул убор взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот домишко, чтобы открыть в нем кабак, эта комната была именно так обставлена; он купил эту мебель и цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник оглянулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

— Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

— Какая прыткая! — холодно ответил Тенардье.

Больше они не обменялись ни словом, несколько минут спустя их свеча потухла.

А путешественник, как только хозяин ушел, положил в угол узелок и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору; коридор вывел его на лестницу. Тут он услыхал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей, низом ступеней. Там, среди старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На

этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. Время от времени Козетта тяжело вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Незнакомец вошел туда. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, беленькие кроватки. Это были кроватки Эпонины и Азельмы. За кроватками, полускрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, тот самый, что кричал весь вечер.

Незнакомец предположил, что рядом с этой комнатой находится комната супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит скудный огонь, если

только он горит, и от которых веет холодом. В камине не было огня, в нем не было даже золы, но то, что стояло в нем, привлекло внимание путника Это были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Незнакомец вспомнил прелестный старинный обычай детей в рождественский сочельник ставить в камин свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него чудесный подарок. Эпонина и Азельма не упустили такого случая: каждая поставила в камин по башмачку.

Незнакомец нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, — в каждом башмаке блестела новенькая монета в десять су.

Путник выпрямился и уже собирался уйти, как вдруг заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, грубое, ужасное деревенское сабо, разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта с трогательной детской доверчивостью, которая постоянно терпит разочарования и все-таки не теряет надежды, поставила свое сабо в камин.

Как божественна, как трогательна была эта надежда в ребенке, который знал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Тенардье за работой

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардье. сидя в трактире за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путнику в желтом рединготе.

Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Оба не произносили ни слова. Он размышлял, она испытывала то благоговейное чувство, с каким человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним дивное творение человеческого разума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, сделав несколько поправок, Тенардье создал следующий шедевр:

СЧЕТ ГОСПОДИНУ ИЗ № 1

Ужин — 3 фр.

Комната — 10 фр.
Свеча — 5 фр.
Топка — 4 фр.
Услуги — 1 фр
Итого — 23 фр.

Вместо «услуги» было написано «усслуги».

— Двадцать три франка! — воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось легкое сомнение.

Тенардье, как все великие артисты, был, однако, не удовлетворен.

— Пфа! — пыхнул он.

То было восклицание Кастльри, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

— Ты прав, господин Тенардье, он и правда нам столько должен, — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей — Это справедливо, но многовато. Он не станет платить.

Тенардье засмеялся сухим своим смехом.

— Заплатит! — проговорил он.

Этот его смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось таким тоном, не могло не сбыться. Жена не

возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он воскликнул:

— Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, предался размышлениям.

— Кстати, — снова заговорила жена, — ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардье закурил трубку, выговорил между двумя затяжками:

— Счет этому человеку подашь ты.

И вышел.

Когда он скрылся за дверью, в комнату вошел путник.

Тенардье мгновенно показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Человек в желтом рединготе держал в руке палку и узелок.

— Так рано и уже на ногах? — воскликнула кабатчица. — Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубое лицо выражало несвойственные ей смущение и беспокойство.

Представить такой счет человеку, «ни дать ни взять — нищему», она считала неудобным.

У незнакомца был озабоченный и рассеянный вид.

— Да, сударыня, я ухожу, — ответил он.

— Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

— Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардье молча подала ему сложенный счет. Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

— Сударыня! Хорошо ли идут у вас дела в Монфермейле? — спросил он.

— Так себе, сударь, — ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал возмущения. — Ах, сударь! — продолжала она жалобным и плаксивым тоном, — тяжелое время теперь! Да и людей-то зажиточных здесь очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А

тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!

— Какая девчонка?

— Ну, девчонка-то, помните? Козетта. «Жаворонок», как ее тут в деревне прозвали.

— А-а! — протянул незнакомец.

— И дурацкие же у этих мужиков клички! — продолжала трактирщица. — Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Сами знаете, сударь, как обдирает нас правительство. Кроме того, у меня есть родные дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка!

Незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, задал ей вопрос:

— А что, если бы вас освободили от нее?

— От кого? От Козетты?

— Да.

Красное, свирепое лицо кабатчицы расплылось в омерзительной улыбке.

— О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите, унесите, осыпьте сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благосло-

вит вас пресвятая дева и все святые угодники!

— Хорошо.

— Правда? Вы возьмете ее?

— Возьму.

— Сейчас?

— Сейчас. Позовите девочку.

— Козетта! — крикнула Тенардье.

— А пока, — продолжал путник, — я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивление:

— Двадцать три франка!

Он посмотрел на трактирщицу и повторил:

— Двадцать три франка?

В тоне, в каком незнакомец повторил эти три слова, слышались и восклицание и вопрос.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к атаке. Она ответила твердо:

— Да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

— Приведите малютку, — сказал он.

Тут на середину комнаты выступил сам Тенардье.

— Этот господин должен двадцать шесть су, — сказал он.

— Как двадцать шесть су? — вскричала жена.

— Двадцать су за комнату и шесть су за ужин, — холодно ответил Тенардье. — Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать с господином проезжим. Оставь нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что на подмостки вышел великий актер, и молча удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил путнику стул. Путник сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло необычно добродушное и простоватое выражение.

— Послушайте, сударь! — сказал он. — Скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

— Какое дитя?

— Смешно! — продолжал Тенардье. — А вот привязываешься к ним. На что мне эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

— Да кого же? — переспросил незнакомец.

— А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный

человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать для бога. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

— Прошу меня простить, сударь, — продолжал Тенардье, — но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека вполне порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье... но мне надо знать. Понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую своими чувствами, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находит-

ся, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названый отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи свыше наших сил. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, ведь так?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезно и решительно:

— Господин Тенардье! Отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда вас больше не видела. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Вы согласны? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так понял и Тенардье, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные

песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, изучая его, как математик. Он выслеживал его из личных интересов, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже разгадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот те вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кто же он? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы то ни было, завязав разговор с этим человеком и будучи уверен, что тут кроется тайна, что путник не без умысла пожелал остаться в тени,

Тенардье чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была при всей ее загадочности проста, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он все взвесил в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямо и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решительный момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.

— Сударь! — заявил он. — Мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

— Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно

новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка был изображен прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Козетта не знала, что такое золотой, она никогда не видела золота, и она поспешила спрятать монету в карман передника, как будто она украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой — неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей это дар, однако испытывала смешанное чувство радости и страха. Она была довольна; более того: она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом не переставала размышлять об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле — таком богатом и добром. С момента встречи со стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка, не знала, что значит жить под крылышком матери. С пятилетнего

возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь — тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже была не одинока; кто-то стоял подле нее.

Она поспешила приняться за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, позабыв о метле, обо всем на свете, уйдя в созерцание звезды, блиставшей в глубине кармашка.

В одну из таких минут ее застигла тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумаком и не обругала ее.

— Козетта! — сказала она почти кротко. — Иди скорее.

Спустя минуту Козетта вошла в кабачок. Незнакомец развязал сверток. В свертке лежали детское

шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки — одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

— Дитя мое! — сказал незнакомец. — Возьми все это и пойди скорее переоденься.

День еще только занимался, когда жители Монфермейля, отпирая двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку девочку в трауре, державшую розовую куклу Они шли по направлению к Ливри.

Это были незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Об этом она не имела понятия. Куда? Этого она не знала. Одно ей было понятно она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сея поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя в небо. Луидор она положила в

кармашек нового передника. Время от времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею идет сам господь бог.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Кто ищет лучшего, тот может найти худшее

Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда путник и Козетта ушли, Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

— И только-то? — удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки. Удар попал в цель.

— Да, ты права! — сказал он. — Я дурак! Дай-ка мне шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и выскочил из дома, но сперва ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал в указанном направлении.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я — болван, — рассуждал он сам с собой. — Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все — с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, — все это очень странно; тут много таинственного. Но пойманную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей — это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать». Все эти мысли вихрем кружились у него в голове. «Я болван», — повторял он.

Если выйти из Монфермейля и дойти до поворота на Ливри, то видно далеко, как эта дорога бежит в сторону плато. Тенардье надеялся увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, насколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и девочка, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил туда.

Правда, они опередили его, но девочка идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

— Надо было захватить с собой ружье, — пробормотал он.

Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя наполовину. При ровной и спокойной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» — мы не говорим «быть» — честным, как принято выражаться, торговцем, честным гражданином. В других условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам Сатана, сидя на корточках в углу трущобы, где жил Тенардье, иной раз предавался размышлениям над этим высочайшим образцом человеческой низости.

После минутного колебания Тенардье подумал! «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы,

которая выследила стаю куропаток.

В самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискось большую прогалину, вправо от лесной дороги на Бельвю, и дошел до заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил множество догадок. Шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели там отдохнуть. Девочка была так мала, что ее не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардье не ошибся. Незнакомец сел, чтобы дать Козетте передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого он искал.

— Прошу прощения, сударь, — проговорил он, запыхавшись, — извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

— Что это значит?

— Это значит, сударь, что я беру Козетту обратно, — почтительно ответил Тенардье.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику. А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отчеканивая каждый слог.

— Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

— Да, сударь, беру. Сейчас объясню, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдать ее вам. Видите ли, я человек честный. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. А мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы скажете «Мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?

Вместо ответа человек порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! — подумал он. — Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить»

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Путник открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику.

— Вы правы, — сказал он. — Прочтите.

Тенардье взял бумажку и прочел:

«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.

Господин Тенардье!

Отдайте Козетту подателю сего письма Все мелкие расходы будут вам оплачены Уважающая вас

Фантина».

— Вам знакома эта подпись? — спросил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.

Возражать было нечего. Тенардье был зол, и вдвойне на то, что приходится отказаться от денег и на то, что был побежден.

— Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, — сказал незнакомец.

Тенардье пришлось отступать по всем правилам.

— Подпись довольно ловко подделана, — проворчал он сквозь зубы. — Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

— Пусть так, сударь, — сказал он, — раз вы

являетесь подателем записки. Но ведь надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

— Господин Тенардье! В январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков, но в феврале вы послали ей счет на пятьсот; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; по условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардье испытал то же чувство, какое испытывает волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Черт, а не человек!» — подумал он и поступил так, как поступает волк: рванулся из капкана. Ведь однажды его уже выручила наглость.

— Господин-имени-которого-не-имею-честизнать! — сказал он решительно, оставив всякую вежливость. — Я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

— Идем, Козетта, — спокойно сказал незна-

комец.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал палку, лежавшую на земле.

Тенардье принял во внимание увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на широкие, чуть согнутые плечи незнакомца и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, — подумал он, — пошел на охоту без ружья!»

И все же ему не хотелось сдаваться.

— Мне надо знать, куда он пойдет, — пробормотал он. Держась на известном расстоянии, он пошел за ними. У него оставались насмешка: клочок бумажки с подписью «Фантина» и утешение; полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зимою лес стал совсем сквозным, и Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался на довольно значительном расстоянии. Время от времени незнакомец обора-

чивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в кустарник, в котором легко было скрыться.

— Тьфу ты пропасть! — воскликнул Тенардье и ускорил шаг.

Густота кустарника принудила его близко подойти к ним. Войдя в самую чащу, незнакомец обернулся. Напрасно Тенардье укрывался за кустами, — ему так и не удалось остаться незамеченным. Незнакомец бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал идти. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг незнакомец снова оглянулся и снова увидел трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел дальнейшее преследование бесполезным. И повернул домой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее, бросившись туда, он был,

как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что увеличивало его прибыльность. Затем Жан Вальжан, подобно всем несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем направился к Гран-Вилару, около Бриансона, в Верхних Альпах. То было отчаянное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому неведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сиврие; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в округе Гранжде-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни (кантон Шапель-Гонаг). Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить

траурную одежду для девочки лет семи-восьми и подыскать себе жилье. Затем он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже совершал в окрестностях Монфермейля таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Но его считали умершим, и это еще сильнее сгущало окутывавшую его тьму. В Париже ему попалась в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Теперь Жан Вальжан был спокоен, почти умиротворен; у него было такое чувство, словно он и в самом деле умер.

В тот день, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ней в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, кабриолет доставил его на эспланаду Обсерватории, и тут он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба глубокой ночью направились по пустынным улицам, прилегавшим к Лурсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный, полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в одиноких харчевнях хлеб и сыр, часто

пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, — Жан Вальжан заметил это по тому, с какой силой она при ходьбе тянула его за руку. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ЛАЧУГА ГОРБО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в трущобы глухой окраины Сальпетриер, поднялся по бульвару до Итальянской заставы, он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, — здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, — здесь попадались городские домики и улочки. Но это был и не город, — на улицах лежали колеи, как на больших дорогах, росла трава; это было и не село, — дома были слишком высоки. Что же представляла собой эта

окраина, и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка.

Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался миновать Малую Банкирскую улицу, и, оставив вправо конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, пнями, грудами опилок и щепы, на верхушке которых лаяли сторожевые псы, затем длинную низкую полуразвалившуюся стену с грязной черной дверцей, покрытой мхом, сквозь который весной пробивались цветы, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, мало кому известной. Там, недалеко от завода, между двумя садами, виднелась в ту пору лачуга; с первого взгляда она

казалась маленькой хижинкой, на самом деле она была огромна, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковой стороной — отсюда обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был укрыт от взоров. Видны были только дверь и окно.

Лачуга была двухэтажная.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло бы украшать какой-нибудь особняк.

Дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась внутрь, на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками такой же ширины, как дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен в темноту. Верхняя часть грубого проема пряталась за узкой доской с выпиленным в середине треугольным отверстием, служившим и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери размашистой кистью, обмакнутой в чернила, была

изображена цифра 52, а над дверью — теми же чернилами — цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке вместо занавески висело грязное тряпье.

Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако на этих стеклах было множество самых разнообразных повреждений, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни служили не столько защитой для обитателей лачуги, сколько угрозой для прохожих. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок; их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему надлежало быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые решили идти вместе и шагают бок о бок; их прикрывают одина-

ковые лохмотья, но по внешности они не похожи друг на друга: один напоминает профессионального попрошайку, другой — бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на комнаты. Окнами они выходили на заброшенные участки. Все это темное, унылое, тусклое, печальное и мрачное строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях образовались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразной и живописной подробностью такого рода жилищ являются громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда бросали проходившие мимо дети.

Часть здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию не более ста лет. Для собо-

ра сто лет — юность, для жилого дома — старость. Человеческому жилью как бы свойственна бренность человека, жилищу бога — его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50-52, но в квартале она известна была как дом Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти словно насаженные на булавки самые незначительные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле было два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар[21] — два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот факт был уж очень соблазнителен для судейских писцов, и они не преминули сделать его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия разошлась написанная в стихах, хотя и довольно нескладных, пародия:

На груду папок раз ворона взобралась,
Арестный лист она во рту зажала
Лиса, приятным запахом прельстясь,

[21] Примечания: 21

По-французски ворона — le corbeau (корбо), лисица — le renard (ренар).

Из лесу прибежала
И перед ней такую речь держала;
«Здорово, друг!...» и т.д.

Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитье подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош-Эмон — слева, оба благоговейно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, вставшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил судейским крючкам переменить — вернее, слегка изменить их фамилии. Господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше: он получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар[22], так что новая фамилия подходила к

---

[22] Примечания: 22
По-французски Пренар (prenard) означает, взяточник, лихоимец.

нему не меньше, чем старая.

Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под № 50-52 на Госпитальном бульваре. Он же и был творцом огромного окна.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

Напротив дома № 50-52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший, прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, немощеная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывавшая Париж, еще существовала в 1823 году.

Застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегала дорога, ведущая в Бисетр. Через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло об-

наружить правосудие, — темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на роковой улице Крульбарб, где, как в мелодраме, под раскаты грома Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к жалкой и позорной Гревской площади — площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, но не дерзнувших мужественно отменить ее или открыто выступить в ее защиту.

Тридцать семь лет тому назад, если не считать площади Сен-Жак, которой словно было определено внушать ужас, самым мрачным уголком на этом мрачном бульваре была, вероятно, эта мало привлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга № 50-52.

Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Грустные мысли овладевали вами; вы чувствовали, что находитесь между большущей Сальпетриер, высокий купол которой можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды

которого вы находились, то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Всюду бараки, строительный мусор, старые стены, черные, словно траурный покров, новые стены, белые, словно саван; всюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в линию постройки, вереница длинных и холодных плоских фасадов н гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе — леденящее душу, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает, как симметрия. Симметрия — это скука, а скука — сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет свет, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет луне в облаках оконце,

бульвар становится страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает бесчисленные предания, связанные с виселицей. В уединенности квартала, где совершено было столько преступлений, таилось что-то жуткое. В темноте всюду чудились западни, смутные очертания теней внушали подозрение, длинные четырехугольные углубления меж деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках на старых замшелых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо просили милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, уже тогда стремился к преображению. Кто хотел его видеть, тому надо было спешить. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь подробность. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что во-

круг этих крупных центров движения от грохота мощных машин, от дыхания чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним в определенное время три-четыре раза в день, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, и тем не менее они вполне соответствуют действительности: как верно то, что в крупных городах солнце вызывает к жизни дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, всюду расползаются и тянутся тротуары даже там, где еще нет прохожих. Однажды, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг

задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Лурсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Гнездо совы и славки

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, крепко-накрепко запер ее за собой и поднялся по лестнице, неся на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер другую дверь. Он тотчас же запер-ся, войдя в комнату, напоминавшую довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу топилась печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был отгорожен чуланчик, где стояла складная кровать. Жан Вальжан

так бережно опустил девочку на кровать, что она не проснулась.

Он высек огонь и зажег свечу, — все это было заранее приготовлено на столе; затем, как и накануне, он устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, граничившие почти с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, кто с ней, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ее ручку.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустился на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а девочка все еще спала. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

— Да, сударыня! — внезапно проснувшись,

вскрикнула Козетта. — Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще от сна глазами протянула руки в угол комнаты.

— Боже мой! А где же метла? — воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

— Ах да! Я и забыла! — сказала она. — С добрым утром, сударь!

Дети быстро и легко осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей — радость и счастье.

В ногах Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она забрасывала вопросами Жана Вальжана. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? и т.д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!».

Это была отвратительная конура, но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

— Надо мне ее подмести? — спросила она наконец.

— Играй, — ответил Жан Вальжаи.

Так прошел день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива подле

этой куклы и подле этого человека.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Два несчастья при слиянии образуют счастье

На рассвете Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он был один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное, далекое воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, спас, он вдруг почувствовал, как

дрогнула его душа. Все, что было в ней страстного и нежного, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое, ибо смутно и отрадно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте — восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и бедная крошка Козетта. Когда мать покинула ее, она была еще так мала, и она совсем ее не помнила. Как все дети, она, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, пыталась любить. Но это ей не удавалось Все ее оттолкнули — и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но собака издохла; после этого ни-

кому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно сказать, но мы уже об этом упоминали: в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но — увы! — она лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства превратились в любовь к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение блаженства.

Этот добрый человек уже не казался ей ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Немалое значение имела здесь новизна места и образа жизни. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила этих двух лишенных корней человек, столь разных по возрасту, но столь близких по переживаниям. Эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана

Вальжана — ребенка. Встретиться — значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно сознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.

Отделенные от всего мира кладбищенской стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собой Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.

Таинственное ощущение, которое возникло у Козетты, когда Жан Вальжан взял ее за руку в темной чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли божьей.

Жан Вальжан удачно выбрал убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, так что нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живших и напротив и рядом.

Нижний этаж дома № 50-52 представлял собою

нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделенный от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилицей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он изъявил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за полгода вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливую жизнь.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев, она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь у него была иная цель: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть — в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться за нее.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он мог часами смотреть, как она одевает и

раздевает куклу, и слушать ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной смысла, люди представлялись добрыми и справедливыми, он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, освещенная Козеттой, словно сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Пусть это только наше мнение, но если уж говорить все до конца, то мы полагаем, что когда Жан Вальжан полюбил Козетту, он нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в Жавере. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торже-

ствующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был нисколько не крепче Козетты. Он оказал ей покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия весов твоих, о судьба!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Наблюдения главной жилицы

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-нибудь церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час

прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую он застал в первый день; только стеклянную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сердобольные старушки подавали ему су, Жан Вальжан принимал милостыню и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просившего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свою отрицательную сторону. В квартале его приметили и прозвали «нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое,

съедаемое завистливым любопытством к ближнему, зорко следила за Жаном Вальжаном, а он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красы у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та ничего не знала и ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, и это показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, как старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха, к великому своему ужасу, разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? — подумала старуха. — Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в эвто время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. История с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала толки среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась тщательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, это были билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила в карманах множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, — это она уже видела, — но объемистый бумажник, большой нож и — подозрительная подробность! — несколько париков

разного цвета. Казалось, каждый карман редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так обитатели лачуги дожили до конца зимы.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Пятифранковая монета, падая на пол, звенит

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю забитого колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сгорбившийся человек, как всегда, бормочет молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему н протянул подаяние. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносное, однако Жан Вальжан вздрог-

нул. Ему почудилось, что при свете уличного фонаря перед ним мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, а знакомый и грозный образ. У него были такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Сперва он оцепенел от ужаса, потом отпрянул, не смея ни дышать, ни говорить, ни стоять на месте, ни бежать, и глядел на нищего, а тот, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанною тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. Нищий был такого же роста, одет в такие же лохмотья, имел такой же облик, как обычно. «Полно! — подумал Жан Вальжан. — Я сошел с ума! Мне померещилось! Это невозможно!» Он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицо Жавера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, — это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, в сумерки, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте.

— Здравствуй, милый человек! — решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су.

Нищий поднял голову и жалобно произнес:

— Спасибо, добрый господин. Без сомнения, это был старый псаломщик. Жан Вальжан успокоился. «Какой же это, черт возьми, Жавер? — подсмеиваясь над собой, думал он. — Уж не начинает ли у меня портиться зрение?» И он выкинул из головы эту мысль.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера. Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и затворилась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживавшая в доме, всегда ложилась спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках; к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги стихли. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ни единого звука, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь, увидел в замочной скважине свет. Этот свет казался зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Спустя несколько мгновений свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял обувь.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать; всю ночь он не смыкал глаз.

На рассвете, когда его сморил сон, он проснулся от скрипа открывавшейся двери в одной из пустовавших комнатушек в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, прильнув к замочной скважине, попытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его двери. Действительно, это оказался мужчина, — на сей раз он прошел мимо

комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще так темно, что различить его лицо не представлялось возможным, но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз в окно, выходившее на бульвар. Но для этого надо было открыть окно — на это он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом, как к себе домой. Но кто дал ему ключ? Что бы это значило?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя, как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

— Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера считалось уже глубокой ночью.

— Да, слыхал. Кто это был? — спросил он самым естественным тоном.

— Это новый жилец, который поселился в доме.

— А как его зовут?..

— Не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Что-то вроде этого, — ответила старуха.

— А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими острыми глазками и ответила:

— Такой же рантье, как и вы.

Может, у нее никакой задней мысли и не было, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил столбиком сотню франков, хранившихся у него в шкафу, и, завернув в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.

В сумерках, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар. Нигде не было ни души. Бульвар казался пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

— Идем, — сказал он Козетте и, взяв ее за руку, вышел из дома.

КНИГА ПЯТАЯ
НОЧНАЯ ОХОТА С НЕМОЙ СВОРОЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми читатель познакомится в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры, как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж — его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне отошел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он еще существовал. Быть может, там, куда автор поведет читателей и где он скажет: «На такой-то улице стоял такой-то дом», нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять

на себя труд это сделать. Ему же современный Париж неведом, и он пишет, видя перед собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, стены чужды, деревья — случайность на твоем пути, дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, — обыкновенный булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти ты горячо любишь, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу своей души, своей крови, своего сердца ты оставил на этих мостовых. Все эти места, которых ты не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и беспрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей

обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Да будет же нам дозволено говорить о минувшем, как о настоящем. Предупредив читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан мгновенно ушел с бульвара и углубился в лабиринт улиц, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь, чтобы удостовериться, что за ним не следят.

Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. У охотников этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем

пустынным улочкам, близким к улице Поливо, за ним никто не идет.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сделали ее натуру пассивной. Кроме того, — к этой ее особенности нам придется еще возвращаться, — она привыкла, не очень в них разбираясь, к странностям старика и к прихотям судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Вот почему у него не было никакой определенной мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что он — Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться в лачугу Горбо. Словно поднятый зверь, он искал нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, как будто еще оставались в силе строгие порядки средневековья и давался сигнал о тушении огня. Разными способами, согласно требованиям высокой стратегии, он пробрался с Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах были ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он перешел улицу Понтуаз против полицейского участка, помещавшегося в доме № 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин: они один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского участка — их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому № 14. Шедший во главе показался Жану Вальжану безусловно подозрительным.

— Идем, детка, — сказал он Козетте и поспешил уйти с улицы Понтуаз.

Он сделал круг, обогнул запертый по случаю позднего времени Патриарший проезд, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и пошел по Почтовой улице.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, Новая Сент-Женевьевская улица — улица старая, а по Почтовой улице почтовая карета проезжает раз в десять лет. В XIII столетии Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название — Горшечная.)

Луна ярко освещала перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились снова. Теперь их было уже четверо: все — высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах, с толстыми дубинами в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались на середине перекрестка словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Сомнений не оставалось: Жан Вальжан узнал Жавера.

ГЛАВА ВТОРАЯ
К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, для этих людей она еще длилась. Он воспользовался их нерешительностью: для них это было потерянное время, для него — выигранное. Выйдя из-за ворот, он пошел по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро дошел он до горшечной фабрики Гобле,

на фасаде которой была отчетливо видна освещенная луной старинная надпись:

Здесь фабрика Гобле я сына.
Прохожий покупать спеши!
Горшки, тазы, котлы, кувшины —
Все предлагаем от души.

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегающим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынны. Никто за ним не шел. Он облегченно вздохнул.

Он дошел до Аустерлицкого моста. В ту пору еще взимали мостовую пошлину. Жан Вальжан подошел к будке сборщиков и протянул су.

— С вас полагается два су, — сказал старый инвалид. — Вы несете ребенка, хотя он сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним по мосту проезжала большая повозка, направлявшаяся также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрываясь в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги; ей захотелось пойти самой. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, надо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Правда, его искали, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем вступить на нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем брезжила надежда, что эти люди, быть

может, еще не успели взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Смотри план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы V. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое — в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

Время от времени он оглядывался. Он старался держаться теневой стороны тянувшейся перед ним прямой улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, несколько успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, скользнув в нее, еще раз сбить загонщиков со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Стена нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль переулка, пересекавшего улицу, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой она собой

представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других — преобразили. Вспаханные поля, дровяные вклады и старые дома исчезли. Теперь там появились новые широкие улицы, площади, цирки, ипподромы, вокзалы, тюрьма Мазас: словом, прогресс и его исправительное средство.

Полвека тому назад на народном языке, который весь основан на преданиях и именует Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу — «Фейдо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота

Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша. Малый Пикпюс — все эти старинные названия уцелели до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати сказать, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощеные, улицы почти не застроены. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни экипажа; изредка в окнах кое-где мерцали огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где — низенькие домишки и длинные, высотою с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во время Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал был окончательно погребен под выросшими на нем новыми зданиями. В настоящее время он не существует. Малый Пикпюс, от которого на со-

временных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери на улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена на Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по форме был похож на букву V, образуемую разветвлением Зеленой дороги, левая ветвь которой носила название Пикпюс, а правая — Полонсо. Обе ветви этой буквы V на концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась Прямой стеной. Здесь кончалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и доходил до конца улицы Полонсо, слева оказывалась Прямая стена, сворачивавшая под прямым углом, впереди — стена этой улицы, а направо — продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, именовавшийся тупиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу Прямой стены и Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Призрак подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То,

что он сейчас заметил и что двигалось в темноте на некотором расстоянии от него, — это были, конечно, Жавер и его небольшой отряд. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер хорошо знал этот маленький лабиринт и принял меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, вполне соответствовавшие действительности, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим вихрем. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на Пикпюс. там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Идти вперед — наткнуться на этого человека. Идти назад — попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. В отчаянии взглянул он на небо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В поисках спасения

Чтобы понять дальнейшее, надо точно представить себе Прямую стену и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оста-

вался влево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой тянулся ряд особняков строгой архитектуры; по мере приближения к улочке Пикпюс они повышались на один — на два этажа. Таким образом, будучи высоким со стороны улочки Пикпюс, этот ряд особняков был значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, он становился совсем низким и переходил в стену. Но стена не обрывалась на улице; окружая срезанный конец квартала, в этом месте она была скрыта своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой — на Прямой стене.

От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома № 49, а по Прямой стене, где отрезок ее был значительно короче, — до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый вдававшийся вглубь угол. Эта боковая сторона производила мрачное впечатление; в ней было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемый здесь нами с величайшей точностью, несомненно

пробудит самое живое о ней воспоминание у старожилов этого квартала.

На срезанном углу стояло нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкривь и вкось, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

За срезанной стеной виднелась липа, со стороны улицы Полонсо стену обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, этот ряд домов привлек к себе своей мрачностью и уединенностью. Он окинул его быстрым взглядом. У него мелькнула мысль, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, пожалуй, он будет спасен. Вначале это были только предположение и надежда.

В средней части фасада, выходившего на Прямую стену, возле всех окон на всех этажах имелись в конце желобков старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Множеством

своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листьев виноградные лозы, вьющиеся по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное дерево с жестяными и железными сучьями прежде всего бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом? Но труба была расшатана, попорчена и еле держалась. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. А как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения взобраться по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не может заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот.

Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он ощупал ворота и обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их еще менее крепкими; доски сгнили; железные полосы — их было всего три — заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это были не ворота. На них не было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посредине. Их пересекали соединенные одна с другой железные полосы. Сквозь щели досок он разглядел кое-как скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери — не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения, Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы

лицом к лицу со стеной.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Что было бы немыслимо при газовом освещении

В этот миг до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан осторожно выглянул из-за угла. Взвод солдат, состоявший человек из восьми, выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все дверные проемы и проходные аллейки.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти,

которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату Козетты, — иначе говоря, жизнь в могиле.

У него оставалась одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли святого, в другой — опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.

Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги, он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером потрясающего искусства взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды — даже до высоты шестого этажа, пользуясь малейшими выступами и выбоинами в камнях. Это было то искусство, что стяжало страшную и громкую славу уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над ко-

торой виднелась липа. Высота стены равнялась приблизительно восемнадцати футам. Угол, образуемый этой стеной и боковой стороной большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника — вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Высота каменной кладки равнялась примерно пяти футам; от верхушки до гребня стены надо было преодолеть расстояние не более чем в четырнадцать футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не может взобраться на стену. Бросить ее? Но это и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе невозможно. Чтобы успешно совершить это необычайное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот

миг королевством, он не задумываясь отдал бы его за веревку.

Крайним обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Полный отчаяния взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии один от другого. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закреплявшейся в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок шкафчика и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с судьбой руки, эти мрачные изобретатели отчаянных средств, действуют

стремительно.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Фонарь в тупике Жанро тоже не горел; можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висит ниже, чем всегда.

Между тем поздний час, безлюдье, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение — все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте давно бы уже громко плакал. Она ограничилась тем, что дернула Жана Вальжана за полу редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

— Отец! Мне страшно! — тихо сказала она. — Кто это там идет?

— Тише! — ответил несчастный. — Это тетка Тенардье.

Козетта задрожала

— Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями — это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, — он снял свой шейный платок, обернул его вокруг те-

ла Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковой стороной дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой — перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардье повергли ее в оцепенение.

Вдруг она услышала тихий голос Жана Вальжана:

— Прислонись к стене!

Она повиновалась.

— Не говори ни слова и не бойся, — сказал Жан Вальжан.

И тут она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался по верху стены до ее срезанного угла.

Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось счастливым обстоятельством, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, только хотел он соскользнуть с гребня стены, как сильный шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовой голос Жавера:

— Обыщите тупик! За Прямой стеной следят, за Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной или присутствие духа, но только Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то большом и странном саду, — в одном из тех унылых садов,

которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и только ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам высились купы старых деревьев, а посредине, на открытой полянке, можно было различить огромное одиноко стоявшее дерево, несколько кривых, взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестевшими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Каменные скамьи казались черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, а за нею, возле самой стены, каменная статуя, — ее изувеченное лицо казалось смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Строение представляло собой развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная всяким хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходившее на Прямую стену и в Пикпюс, двумя своими внутренними стенами, сходившимися

под прямым углом, обращено было в сад. Внутренние стены выглядели еще мрачнее, чем фасад. Окна были зарешечены, нигде ни огонька. В верхних этажах над окнами выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое тень, расстилавшую по саду длинное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Можно было лишь смутно различить скрещивавшиеся стены, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.

Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану Слышен был шум, который производил патруль, обшаривавший тупик и улицу, стук

прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским, занявшим посты, его проклятия вперемешку со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.

Осторожным движением руки он закрыл Козетте рот.

Впрочем, уединенное место, где они находились, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог нарушить его. Казалось, стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.

Внезапно среди глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии — в черном, устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, — те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над

деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, хор ангелов, казалось, приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока голоса пели, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет крылья — те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.

Пение смолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать бы не мог. Часы экстаза пролетают как одно мгновение.

Вновь воцарилась тишина. Ни звука на улице, ни звука в саду. То, что угрожало, то, что ободряло, — все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинок, колеблемых ветром.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Родолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер — значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, положив головку к нему на плечо, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

— Тебе хочется спать? — спросил он.

— Мне очень холодно, — ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

— А она все еще здесь?

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Госпожа Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

— А, вот оно что! Она уже давно ушла, — ответил он. — Не бойся!

Девочка облегченно вздохнула, словно с души ее спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял редингот и укутал Козетту.

— Теперь тебе теплее? — спросил он.

— О да, отец!

— Хорошо. Подожди меня. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к окнам с полукруглым верхним стеклом, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. То были окна довольно обширной, вымощенной широкими плитами и разделенной арками и колоннами залы, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет сочился из ночника, горевшего в углу. Зала была пуста, все там было неподвижно. Однако, всмотревшись, Жан Вальжан заметил на полу что-то словно покрытое саваном, походившее на фигуру человека. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, как бы в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею;

можно было подумать, что шею этой жуткой фигуры обвивает веревка.

Зала тонула в густом тумане, как это бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более зловещий вид.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в непонятном месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это живой человек.

У Жана Вальжана хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, гонится это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени у него подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, — здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те приходят на зов, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер. Это был не сон. Чтобы поверить в это, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, то, что он пережил в этот вечер, — все это вызвало у него лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Загадка усложняется

Девочка уснула, положив голову на камень.

Жан Вальжан сел рядом. Глядя на девочку, он постепенно успокаивался и обретал присутствие духа.

Он ясно сознавал истину, которая отныне легла

в основу его жизни — до тех пор пока Козетта с ним, если что и будет ему нужно, то не для себя, а для нее; если он и будет бояться, то не за себя, а за нее. Он не чувствовал холода, хотя прикрыл рединготом ее.

Внезапно его слух поразил какой-то странный шум.

Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада; хотя и негромкий, он слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками грядок, где росли дыни, и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, ночной темноты — потому, что она помогает

застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, сейчас — то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, отслужившей свой век мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон; когда он удалялся, то удалялся и звон; когда он делал какое-нибудь резкое движение, раздавалось тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к человеку; но что бы это означало? Кем мог быть человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан дотронулся до рук Козетты. Они были холодны как лед.

— Боже! — пробормотал он и тихонько окликнул ее: — Козетта!

Она не открыла глаз.

Он тряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» — подумал он и встал, дрожа всем телом.

Самые мрачные мысли закружились у него в голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот прервется.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Как сумасшедший, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут, Козетта должна быть у огня

и в постели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

— Сто франков! — крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

— Вы получите сто франков, только приютите меня на ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

— Как! Это вы, дядюшка Мадлен? — воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в ночной час, в незнакомой местности, незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик, одетый по-крестьянски. На левой ноге у него был

кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Лицо его находилось в тени, и разглядеть его было невозможно.

Старик снял шапку.

— Ах, боже мой! — воскликнул он, трепеща от волнения. — Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Если не знать, кто вы, можно испугаться. Без сюртука! Царь небесный! Неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы сюда вошли?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим изумление и детское простодушие.

— Кто вы и что это за дом? — спросил Жан Вальжан.

— Черт возьми! Вот так история! — воскликнул старик. — Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом — тот самый, куда вы меня определили. Вы разве меня не узнаете?

— Нет, — ответил Жан Вальжан, — Но вы-то откуда меня знаете?

— Вы спасли мне жизнь, — ответил старик.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

— Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

— Слава богу! Наконец-то! — с упреком в голосе проговорил старик.

— А что вы здесь делаете? — спросил Жан Вальжан.

— Как что делаю? Прикрываю дыни.

Действительно: в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть грядку с дынями. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые видел Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

— Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, — добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, — право, не мешало бы одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрошеный гость.

— А что это у вас за звонок висит?

— Этот? А для того, чтобы от меня убегали, — ответил Фошлеван.

— То есть как, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом.

— А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Они вообразили, что встретиться со мной опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

— А что это за дом?

— Вот тебе на! Вы хорошо знаете.

— Нет, не знаю.

— Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

— Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

— Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал припоминать. Случай, вернее, провидение забросило его в монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад

старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

— Монастырь Малый Пикпюс! — повторил он про себя.

— Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? — снова спросил Фошлеван. — Хоть вы и святой, а все-таки мужчина, а мужчин сюда не пускают.

— Но вы-то живете здесь?

— Только я один и живу.

— И все-таки мне необходимо здесь остаться, — сказал Жан Вальжан.

— О господи! — воскликнул Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и многозначительно сказал ему:

— Дядюшка Фошлеван! Я спас вам жизнь.

— Я первый вспомнил об этом, — заметил старик.

— Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что когда-то я сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими реками могучие руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил.

— О, это было бы милостью божьей, если бы я

хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, он просиял.

— Что я должен сделать? — спросил он.

— Я вам объясню. У вас есть комната?

— Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко был так хорошо скрыт за развалинами и так недоступен для взгляда, что Жан Вальжан не заметил его.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь исполните две мои просьбы.

— Какие, господин мэр?

— Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

— Как вам угодно. Я уверен, что вы не можете сделать ничего дурного, вы всегда были божьим человеком. К тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это дело ваше. Я весь ваш.

— Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

— А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? — пробормотал Фошлеван.

Он молча последовал за Жаном Вальжаном, как собака за хозяином.

Через полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситник, поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено, старик сказал:

— Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они о вас помнят. Вы — неблагодарный человек!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, в которой рассказывается о том, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник направился в Париж. Париж — водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глубине океана. Нет чащи, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно всем беглецам. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она здесь и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Вот почему господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Здесь Жавер оказался человеком полезным во многих отношениях и, надо отдать ему справедливость, внушил к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о по-

добных услугах.

Жавер больше не думал о Жане Вальжане, — гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, — как вдруг однажды, в декабре 1823 года, заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать о подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание-это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальна, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко!» Затем он отложил газету и перестал думать о Жане Вальжане.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в полицейскую префектуру Парижа донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, по слухам — при странных обстоятельствах. Девочка семи или восьми лет, — говорилось в донесении, — доверенная матерью местному трактирщику, была похищена незнакомцем; имя девочки — Козетта, она дочь девицы Фантины, умершей неизвестно когда

и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Вспомнил он также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Наблюдения, сделанные тогда же, наводили на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этого сельца, ибо в самом сельце его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер это понял. Там жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенка похитил незнакомец. Кто бы это мог быть? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и поехал в Монфермейль. Он надеялся все привести там в полную ясность, но нашел полную неизвестность.

В первые дни взбешенные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в сельце шуму. Появились всевозможные

версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту смекнул, что не всегда стоит беспокоить прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет — вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом, как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он резко изменил свое поведение, заткнул жене рот и притворялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну, конечно, первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал «дедушку», и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно

зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот „дедушка“ и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Богатый земледелец. Зовут его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер — фамилия хорошая, внушающая полное доверие. Жавер возвратился в Париж. «Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», — сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг в марте 1824 года до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищим, который подает милостыню». Болтали, будто это богатый рантье; имени его никто не знал; жил он с восьмилетней девочкой, которая помнит только, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а ныне соглядатай под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил несколько подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем старый желтый редингот стоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее обстоятель-

ство подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он взял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый соглядатай, сидя каждый вечер на корточках и гнусавя псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому Жаверу и подала ему милостыню. Жавер поднял голову и вздрогнул, решив, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте: ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера оставались большие сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он дошел следом за стариком до лачуги Горбо и тут без особого труда заставил разговориться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услы-

шать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова и расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, — услышав звон денег, она подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями бульвара.

Жавер попросил в префектуре дать ему в помощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских списках числился в рубрике самых опасных злодеев, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут галерника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он

ненавидел заранее возмещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них свежесть и новизну. Он предпочитал совершать свои самые блестящие дела в тиши, а потом внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном, переходя от дерева к дереву, от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не задержал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху полиция была ограничена в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Незаконные аресты, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю ответственность на них; промах вел за собой отставку. Можно себе представить, какое впечатление произвела бы в Париже следующая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован

как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!

Кроме того, повторяем, Жавер был в высшей степени щепетилен; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел впереди в темноте.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, новая неожиданная беда — вынужденное бегство ночью и поиски убежища для себя и для Козетты, необходимость приноравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция в лице Жавера могла ошибиться — и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в «дедушку», наконец, уверенность в смерти его на каторге — все вместе усиливало нерешительность Жавера.

У него было возникла мысль потребовать, чтобы старик предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то, по всей вероятности, это один из молодцов, искусно впутанных в темный клубок парижских преступлений, один из главарей

опасной шайки, подающий милостыню, чтобы прикрыть этим другие свои качества, — старый, испытанный прием! Конечно, у него есть сообщники, соучастники, есть квартиры, где он намеревался укрыться. Петли, которые он делал, кружа по улицам, доказывали, что это не просто старик. Задержать его сразу же — значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кто же эта загадочная личность.

И лишь на улице Понтуаз при ярком свете из кабачка он узнал Жана Вальжана; теперь сомнений у него уже не оставалось.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: мать, нашедшая ребенка, и тигр, схвативший добычу. Жавер ощутил именно такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Из-за промедления и остановки в переулке

Ролен для совещания с полицейскими Жавер чуть было не потерял след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие — реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика пошлины:

— Вы не видали мужчину с маленькой девочкой?

— Да, я взял с него два су, — ответил сборщик.

Этот ответ осветил положение. Жавер ступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился к Зеленой дороге, Жавер вспомнил о тупике Жанро, представлявшем собой ловушку, вспомнил и о единственном выходе из прямой стены на Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя» тут же, обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в Арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты — козыри. Кроме

того, есть правило: хочешь загнать кабана — будь опытным охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры, представив себе, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским — слева, а сзади — им самим, Жавером, он понюхал табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что человек в его власти, желая по возможности отдалить момент ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в их мертвой хватке. Какое наслаждение — душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен решимостью отчаяния Жан Вальжан, Жаверу, у которого была столь многочисленная свита, мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и

обшаривая по пути все углы и закоулки, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи там не оказалось.

Легко себе представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего Прямую стену и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы здесь проходил мужчина.

Случается, что олень уже взят за рога — и вдруг его как не бывало; он уходит, хотя бы даже вся свора собак повисла на нем. Тут самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез — и те не знают, что сказать. Одна из таких неудач заставила Артонжа воскликнуть: «Это не олень, а оборотень!»

Сейчас Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование больше походило на бессильную ярость.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр — в войне с Индией, Цезарь — в африканской войне, Кир — в скифской, так и Жавер допустил ошибки в походе на Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему

следовало довериться первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно удостоверился, что это Жан Вальжан. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, облитый ярким лунным светом. Конечно, обмен мнениями полезен; не мешает знать и выспросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследующий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, озабоченный тем, чтобы пустить гончих по верному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел страшную и вместе с тем детскую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Жавер мнил себя сильнее, чем он был на самом деле; он решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время Жавер думал, что он недостаточно силен, когда счел необходимым послать за подкреплением. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного вре-

мени! Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, все же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших на свете. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых бечевок образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой глупостей мелких. Рассучите канат, бечеву за бечевой, рассмотрите, каждую в отдельности, мельчайшие решающие причины, приведшие к большой глупости, и вы легко поймете все. «И только-то», — скажете вы. Но скрутите, свяжите их снова — и вы увидите, как это страшно. Это Аттила, который стоит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе: это Аннибал, который мешкает в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Как бы то ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое,

что ему бросилось в глаза, это непорядок с уличным фонарем: его веревка была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить поиски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным невозделанным участкам земли. По-видимому, Жан Вальжан бежал в этом направлении. Если бы он забежал в тупик Жанро подальше, это было бы его гибелью. Жавер так тщательно обшарил сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, устыженный, словно пойманный вором сыщик.

КНИГА ШЕСТАЯ
МАЛЫЙ ПИКПЮС
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Улица Пикпюс, номер 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего

мрачного: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да слонявшийся по двору привратник. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, было мрачное место.

Порог встречал вас улыбкой; дом молился и стенал.

Если вам удавалось пройти мимо привратника, — что было отнюдь не просто, вернее почти для всех невозможно, ибо существовало некое «Сезам, откройся!», которое следовало знать, — итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сенцы, откуда вела наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и ко-

ричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенною светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за рулон. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна почти во всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шагов, ни звука голоса не слышите. Стены голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты — я бы даже сказал, почти петли, примерно дюйма в полтора по диагонали Зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно

тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не разлетаясь от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть или вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами — душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка.

Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

— Кто там? — спрашивал голос.

Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по

другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

— Войдите направо.

Тогда вы замечали направо, против окна, дверь с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скупым светом, льющимся сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, — в настоящую ложу с высоким, по грудь, барьером, к которому была прибита сверху пластинка черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, но уродливой, грубо, кое-как сколоченной решетчатой рамой из железных брусьев, прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Несколько мгновений спустя, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но

не дальше как в шести дюймах за нею перед вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами светло-коричневого цвета. То были складные ставни, состоявшие из длинных и тонких полос, закрывавших всю решетку. Они всегда были закрыты.

Спустя несколько минут за ставнями раздавался голос:

— Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух превращался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Голова говорила с вами, но не смотрела на вас и не улыбалась.

Падавший из-за вашей спины свет был рассчи-

тан на то, чтобы вы видели фигуру светлой, а она вас — темным. Освещение было символическим.

Ваш взор силится проникнуть сквозь отверстие. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза стараются разглядеть во мгле, что окружает это видение. Но вскоре вы убеждаетесь, что разглядеть ничего нельзя. Вы видите ночь, пустоту, тьму, зимний туман, смешанный с испарениями, исходящими от могил; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего нельзя уловить, даже вздоха, мрак, в котором ничего нельзя различить, даже призрака.

Вы видите внутренность монастыря.

Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Ложа, где вы находитесь, — приемная. Голос, который вы услышали, — голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с множеством отверстий.

В приемной было окно, выходившее на свет божий, а внутри монастыря ни одного окна не было, — вот почему в забранной решеткой ложе царил такой мрак. Взоры мирян не смели прони-

кать в это священное место.

Однако по ту сторону мрака был свет; в смерти таилась жизнь. Хотя Малый Пикпюс был самым строгим из всех монастырей, мы постараемся проникнуть туда, поможем проникнуть туда и читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видел, а потому и не мог рассказать.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Устав Мартина Верга

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок, соблюдавших устав Мартина Верга.

Следовательно, эти бернардинки принадлежали не к Клерво — как бернардинцы, но к Сито — как бенедиктинцы; иными словами, их покровителем был не святой Бернар, а святой Бенедикт.

Кто когда-либо перелистывал старые фолианты, тот знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей — в Алкале.

Конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации с уставом Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии — Монте-Кассини и св. Юстины Падуанской; две во Франции — Клюни и Сен-Мор, и еще девять орденов — Валомброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден св. Сильвестра и, наконец, Сито; Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Молемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок — бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду

и апостольник, который, согласно велению св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, — вот их одежда. Все — черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок — бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставах было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки — бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы — белые; кроме того, у них на груди висело

серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно разными. Только в соблюдении одного этого правила и заключается сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличным один от другого и порой даже враждующим орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюль в Париже, которые тем не менее сходятся в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Пресвятой девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.

Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки, соблюдающие этот устав, весь год едят постное, постом и в

многие другие показанные им дни вообще воздерживаются от пищи, встают, прерывая первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать молитвенник и петь утреню. Весь год они спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моются, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого отдыха и в течение полугода — от 14 сентября, праздника Воздвиженья, и до Пасхи — носят рубашки из колючей шерстяной материи. Полгода — это послабление, по уставу их следует носить весь год; но шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Надо было ограничить ношение такой одежды. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно несколько дней лихорадит. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах — вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть

избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы — девять лет.

Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель стоит на амвоне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь — это архиепископ, стоящий во главе епархии.

Впрочем, еще садовник; но садовник — старик; чтобы он всегда был в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчиняются настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всей ее самоотреченности. Они повинуются, словно голосу Христа, *ut uoci Christi*, жесту, малейшему знаку, *ad nutum, ad primum signum*, повинуются немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, *prompte, hilariter, perseveranter*

et caeca quadam obedientia, словно подпилок в руке рабочего, *quasi limam in manibus fabri*, и не имеют права ни читать, ни писать без особого разрешения — *legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia*.

Каждая из них совершает то, что называется искуплением. Искупление — это раскаяние во всех грехах, во всех ошибках, во всех провинностях, во всех насилиях, во всех несправедливостях, во всех преступлениях, совершаемых на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, крестообразно раскинув руки; это все, что она может себе позволить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом есть почти божественное величие.

Так как этот обряд исполняется у столба, на котором горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпо-

читают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.

«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если сзади ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние длится час. Монахини сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и монахини носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если ты на них смотришь, то видишь только их рот. У всех желтые зубы. Зубная щетка никогда не проникала в монастырь. Чистить зубы — значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят моя или мой. У них нет ничего своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют наша, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они

скажут: «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету: молитвеннику, святыне, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой одна знатная дама во время своего пострижения сказала: «Позвольте мне послать за Библией — ею я очень дорожу». — «А! Так вы чем-то дорожите? Тогда не идите к нам».

Всем монахиням воспрещается затворять свои двери, иметь свой уголок, свою комнату. Кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, она произносит: «Хвала и поклонение святым дарам престола!» А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; часто одна отвечает: «Во веки веков» еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение святым дарам престола», тем более что это довольно длинная фраза. У визитандинок входящая произносит:

Ave Maria[23], а та, к кому входят, отвечает: *Gratia plena*[24]. Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся три удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и на всякий час» и т.д., смотря по тому, какой час прозвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прерывать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь форма. Так, например, в общине Младенца Иисуса говорят: «В этот час и на всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественно, придержи-

---

[23] Примечания: 23

«Радуйся, Мария» (*лат.*) — первые слова молитвы.

[24] Примечания: 24

«Благодатная» (*лат.*) — буквально, исполненная благодати, прелести (продолжение той же молитвы).

ваясь строгого монастырского распева, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Всюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на низких нотах, едва доступных женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые

ею в Испании и в Италии. Часы стояния монахинь бесконечны. Что же касается количества и продолжительности молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».

Раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Все монахини поочередно опускаются перед ними на колени на каменный пол и каются вслух в тех провинностях и грехах, которые они совершили в течение недели. После исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме исповеди вслух, во время которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый повин для малых прегрешений. Повиниться — значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Винятся во всяких пустяках: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько се-

кунд к богослужению, сфальшивили, когда пели в церкви, и т.д. Повин совершается добровольно; повинница (это слово здесь этимологически вполне оправданно) сама обвиняет себя и сама выбирает для себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре клирошанки поют псалмы перед большим аналоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то клирошанка при пении псалма, начинавшегося с *Ecce*[25], громко взяла вместо *Ecce* три ноты — *ut, si, sol*; за свою рассеянность она должна была приносить повин в продолжение всей службы. Грех ее усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден лишь ее рот.

Только настоятельница имеет право общаться с посторонними. Прочие могут видеться с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка кто-либо из посторонних выразит желание повидать монахиню, которую знавал или любил в миру, то ему приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании

---

[25] Примечания: 25
Сей (*лат.*)

просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и посетительница беседует с ней через ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, мужчинам в подобной просьбе отказывают.

Таков устав св. Бенедикта, строгость которого еще усилил Мартин Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Строгости

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда и четыре, пробыть белицей и четыре года послушницей. Редко кто принимает великий постриг ранее двадцати трех — двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В кельях они разнообразными и ведомыми им одним способами предаются умерщвлению плоти, о чем они никому не должны говорить.

В тот день, когда послушница принимает по-

стриг, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и читают над ней отходную. Затем монахини становятся в два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!»

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы пансиона девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светскому кругу интересов. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я вся содрогалась». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение Святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, как, например, в день св. Марты, в знак особой милости они удостаивались величайшего счастья — облачаться в монашескую одежду, целый день выстаивать службы и совершать обряды по уставу св. Бене-

дикта. Вначале монахини давали им свои черные одежды. Однако настоятельница запретила давать одежду, сочтя это делом богопротивным. Это разрешалось только послушницам. Любопытно, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам истинное удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. Это было ново, это их развлекало. Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед аналоем, самозабвенно распевая псалмы, — величайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Иные, по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем, не могли отвыкнуть от того, чтобы не произнести скороговоркой: «Во веки веков!» всякий раз, когда стучались к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери.

Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, отказано почти с негодованием.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Веселье

И все же девушки оставили о себе в этой суровой обители много прелестных воспоминаний.

В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, — все краски утренней зари расцветали во мраке. После псалмопений, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум нежнее гудения пчелок, — то шумели девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекота-

ли прелестные белозубые ротики; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над трауром. Девочки резвились под присмотром монахинь — взор праведных не смущает невинных. Благодаря детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих детских игр. Нет ничего более очаровательного и ничего более величественного, чем зрелище свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли бы похохотать сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок — из эпопеи и из побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабушкой из старых сказок.

В этой обители, быть может, чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые застав-

ляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетняя девочка воскликнула: «Матушка! Одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!»

Здесь же произошел следующий памятный разговор:

Мать-изборщица. О чем ты плачешь, дитя мое?

Шестилетняя девочка (рыдая). Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, хотя я знаю!

Алиса (девяти лет). Нет, не знает.

Мать-изборщица. Как же так, дитя мое?

Алиса. Она велела мне открыть книгу где попало и задать ей оттуда любой вопрос и сказала, что ответит на него.

— Ну и что же?

— И не ответила.

— Постой! А о чем ты ее спросила?

— Я открыла книгу где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который мне попался на глаза.

— Какой же это был вопрос?

— Вот какой: Что же произошло потом?

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

«Ну не душка ли он? Склевывает верх тартинки, как человек!»

На одной из плит найдена была исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей;

«Отец мой, я грешна в скупости.

Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.

Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».

На дерновой скамейке розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех-пяти:

«Жили-были три петушка; в их стране росло много-много цветов. Они сорвали цветочки и спрятали в свои кармашки. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В той стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».

А вот другое произведение:

«Раз как ударят палкой!

Это Полишинель дал по голове кошке.

Ей было совсем не приятно, ей было больно.

Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».

Там же бездомная девочка-найденыш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, душераздирающие слова. Она слышала, как другие девочки говорят о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно сновала по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие-то есть те, которым было больше десяти лет, — прозвали ее «Агата-ключ».

В трапезную, большую продолговатую четырехугольную комнату, свет проникал лишь из крытой, с резными арками галереи, приходившейся вровень с садом. Это была мрачная, сырая и, как говорили дети, полная зверей комната. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особенно чтили. Там было теплее. От трапезной прозвища перешли к пансиону; как некогда

в коллеже Мазарини, их носили четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды посетивший монастырь архиепископ заметил входившую в класс хорошенькую, румяную девочку с чудными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

— Кто эта девочка?

— Это паук, ваше высокопреосвященство.

— Вот оно что! А вон та?

— Сверчок.

— А эта?

— Гусеница.

— Вот как! Ну, а ты?

— А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти священных мест, где в уединении протекало детство пансионерок. В Экуане в День святых даров перед крестным ходом их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадилыцицы»; первые несли кисти от балдахина, вторые ка-

дили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальной такой вопрос:

— А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцатилетней, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла сзади: «Так ты же дева, а я нет».

ГЛАВА ПЯТАЯ
Развлечения

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отченаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай:

«Миленькое беленькое отченаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, пресвятую деву Марию посредине. Пресвятая дева приказывала мне ложиться, ничего не страшиться. Отец мой — господь, мать

— богородица, братья — три апостола, сестрицы — три пречистые девы. Сорочка младенца Христа тело мое прикрывает, святой Маргариты крестик грудь мою осеняет. Идет госпожа наша матерь божия в поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. „Святой Иоанн, откуда идешь?“ — «От *Ave salus*[26] иду». — «А не видал ли ты милосердного бога? Не там ли он?» — «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни изглаживается ее след и из памяти молодых девушек тех времен, ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая, даже детей кормили

---

[26] Примечания: 26
Вечерня (*лат.*)

скудно. Подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба — вот и все яства. Но и эти грубые дежурные блюда, предназначенные только для пансионерок, составляли исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменявшейся еженедельно монахини, которая время от времени со стуком открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Тишина была приправлена чтением вслух житий святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе стояли муравленые миски, в которых воспитанницы сами мыли чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

Девочка, нарушившая молчание, должна была сделать «крест языком». Где? На полу. Она лизала пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую печатали только в одном экземпляре и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта.

Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. *Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit*[27].

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они с жадностью принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их захлопывать книгу и прерывать чтение. Эта чрезвычайно рискованная затея доставила им не очень большое удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» — вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обсаженной чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на надзор и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер раскачивал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, — письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином

---

[27] Примечания: 27

Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним (*лат.*)

поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь лежа в кровати, а если это не удается, то съедаешь в ретираде». Это было одним из самых острых наслаждений воспитанниц.

Однажды, — произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом, — молодая девушка, мадмуазель Бушар, приходившаяся сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него отпуск на один день, — поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадмуазель Бушар, к неописуемому ужасу товарок, вышла из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство! Отпустите меня на один день!» Мадмуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Де Келен улыбнулся. «Как, милое дитя, всего на один день? — спросил он. — На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла поделать, — ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами,

каково было впечатление!

Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы приведем, рассказав его вкратце, одно истинное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением и которую все величали «госпожа Альбертина». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой денежные соображения, связанные с устройством блестящей партии.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что

она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она отличалась грацией призрака. Когда она появлялась, веяло холодом. Как-то видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». — «А может, она и вправду мертвая», — ответила ей та.

О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно — «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с хоров, расположенных в верхней части храма, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, а монахиням это возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ Безансонский, в Безансоне он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз

говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей спокойно и стояла не шевелясь. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и в полной тишине громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Все в изумлении повернули головы, проповедник поднял глаза, но г-жа Альбертина вновь впала в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее, неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был болтать в монастыре. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?»! Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было ясно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что она сама занимала высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что, возможно, она была его родственницей и, наверное, достаточно близкой, раз ей было известно его имя.

Две весьма суровые герцогини, де Шуазель и де Серан, часто посещали общину — они имели

туда свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии *Magnates mulieres*[28] и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старухи проходили мимо, то бедные девушки дрожали и опускали глаза.

Герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, находясь в ожидании епископского сана, был назначен главным викарием при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в монастыре Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла видеть его сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и отлично причесан, что его великолепные каштановые волосы чудными завитками обрамляют его лоб, что подпоясан он дивным широким муаровым поясом и что его черная сутана — изящнейшего покроя. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал

---

[28] Примечания: 28
Знатных дам (*лат.*)

в монастырь. Тем не менее выпал год, когда до монастыря долетели звуки флейты. Это было настоящее событие, и тогдашние пансионерки до сих пор помнят о нем.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже почти забытую: «О Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день.

Девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули бы всем, лишь бы увидеть «молодого человека», наглядеться на того, кто так восхитительно играет на флейте и, сам того не ведая, играет на струнах их сердец. Нашлись воспитанницы, которые, проскользнув через черный ход, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на Прямую стену, увидеть хоть что-нибудь. Напрасно! Одна даже, подняв руку над головой и просунув ее

сквозь решетку, стала махать белым платком. Две оказались еще смелее. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели, наконец, «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Малый монастырь

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей старые монахини, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь инокинь, черных, серых и белых, разных орденов и разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.

Со времен Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктиток-бернардинок. Правительство

выдавало им пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было причудливейшее смешение. Каждая гостья соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в виде развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили св. Василию, св. Схоластику и св. Якобу.

Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале XVIII века то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена — белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который она охотно показывала, и завещала ее монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне остался один манекен.

Кроме этих досточтимых сестер, светские пожилые женщины вроде г-жи Альбертины тоже получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К их числу принадлежали г-жа де Бофор д'Отпуль и марки-

за Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно громко сморкалась.

Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения поселиться в монастыре. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что ненавидит их, и притом она переживала тот период, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или через семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.

Покидая монастырь, она оставила память о себе в той келье, где она жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Эти два слова довольно точно рисуют ее портрет. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную внутри записочку со стихами, написанными ее рукой

красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:

> *Imparibus mentis pendent tria corpora ramis:*
>
> *Dismas et Gesmas, media est divina potestas;*
>
> *Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.*
>
> *Nos et res nostras conservet summa potestas.*
>
> *Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas.*[29]

Эти вирши на латыни VI века вызывают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников — Димас и Гестас, как принято думать, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что

---

[29] Примечания: 29

Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посредине царь небесный; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас — вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра (*лат.*)

она отделяла, как настоящий крепостной вал, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквах, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите, что зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда из сада. Во время служб, на которых, по уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об

их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Силуэты во мраке

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадмуазель де Блемер, в монашестве — мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора Жития святых ордена св. Бенедикта. Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, за что ее все обожали.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Женщина образованная, начитанная, ученая, книжница, нашпигованная латынью, напичканная греческим, начиненная еврейским, своеобразный знаток истории, она была скорее

бенедиктинцем, чем бенедиктинкой.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.

Наиболее уважаемыми среди матерей-изборщиц были: св. Гонория, казначея; св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; св. Жозеда (девица Коголлудо); св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуэнтес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенса), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

К числу самых красивых принадлежала пре-

лестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру ее звали бы мадмуазель Роз, а в монастыре она получила имя — мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионерок. Обычно она набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Из послушниц больше всего любили св. Ефразию, св. Маргариту, св. Марфу, впавшую в детство, и св. Михаилу — всех смешил ее длинный нос.

Эти женщины относились к детям кротко. Они были суровы только к себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. Сверх того — бесконечные попечения о них. Но если девочка, проходя мимо монахини, заговаривала с ней, монахиня никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То

гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар; для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали: «Время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре — звон для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», — говорили пансионерки, не отличавшиеся снисходительностью. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» — ужасная железная доска, вся ощетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него и кроме садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще двух мужчин; один из них — священник, старый

и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой — учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасно старый горбун Ансьошка».

Отсюда явствует, что мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Post corda lapides[30]

Обрисовав внутренний облик монастыря, следует в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, Прямой стены, Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омаре. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый

---

[30] Примечания: 30
После сердец — о камнях (*лат.*)

в целом, представлял собою ряд строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка Прямой стены, который находился между Пикпюс и Полонсо; перекладину заменял высокий, строгий серый фасад за решеткой, выходящий на Пикпюс; ворота № 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; эти ворота отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине — кухни, трапезная — филиал монастырской, и церковь. Между воротами под № 62 и углом тупика Омаре находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо,

вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. В середине сада возвышался холмик; на холмике росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от навершья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, примыкавшие к неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу Омаре, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте к этому двор, разные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо соседства, вместо перспективы — длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону Полонсо, — и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена на том месте, где с XIV и до XVI века находилось помещение со знаменитой

залой для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия — Прямая стена и Омаре — очень давние, улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омаре назывался тупиком Могу; Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сто лет под апостольником

Теперь, когда мы познакомились с тем, что представлял собою монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле,

хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. То и дело произнося эти два имени, она испытывала чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастыре были проложены улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, и это очень забавляло воспитанниц. Каждый год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Святой Франсуа передал свой обет святому Евсевию, святой Евсевий — святому Прокопию... и т.д., и т.д., а мой я передаю вам, святой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, милым приглушенным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырех вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какая-нибудь знатная особа — маршал Франции, принц, герцог или

пэр — проезжала через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил ее приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре сорта вина. На одном кубке красовалась надпись: «Обезьянье вино», на другом — «Львиное вино», на третьем — «Баранье вино», а на четвертом — «Свиное вино» Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая раздражает, третья оглупляет, наконец, четвертая оскотинивает.

Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, — что также не было воспрещено уставом, — когда ей хотелось тайком полюбоваться этим предметом. Как только раздавались чьи-нибудь шаги в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, и она, обычно болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее упорство, самые настойчивые отступали перед ним. Разумеется, это давало пищу для пересудов праздным или

скучающим обитательницам монастыря. Что же это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, — предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Быть может, священная книга? Редкостные четки? Чудотворные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, монахини бросились к шкафу, пожалуй, быстрее, чем это дозволяло приличие, и отперли его. Предмет был завернут в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Сцена преследования изобиловала смешными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, очень интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», — говорила она.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Происхождение «неустанного поклонения»

Впрочем, это почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, — явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, место черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались картины — портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже голова турка.

В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, считавшийся самым красивым и высоким во Франции. В XVIII веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, отличными от тех,

которые были подчинены ордену Сито. Орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних; он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев; то было неслыханное, страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре назначил торжественный крестный ход с участием всего духовенства обители; богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин — г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «чтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых женщин и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна — в 1652 году, другая — в 1653, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мец, аббатом

Сен-Жерменским, с тем, чтобы ни одна девица не принималась туда иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал монастырю жалованную грамоту; аббатская хартия и королевская грамота в 1654 году были утверждены счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» на улице Кассет на средства маркизы де Бук и графини Шатовье.

Как видим, этот орден не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он подчинялся аббату Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердца Христова подчинялись магистру ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердия — магистру ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил бернар-

динкам Малого Пикпюса неустанное поклонение по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Конец Малого Пикпюса

С начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который в XIX веке сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, — потребность человечества, но, подобно всему, чего коснулась революция, оно из враждебного прогрессу явления превратится в явление, благоприятствующее ему.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион тоже. Там уже не было ни дряхлых старух, ни молодых девушек. Одни умерли, другие рассеялись. *Volaverunt*[31].

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше

---

[31] Примечания: 31
Разлетелись (*лат.*)

и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в послушницы, но в клирошанки — ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая — признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь растет тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все менее посильными; недалек час, когда останется не более двенадцати согбенных, измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным независимо от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушает. И монахини стали умирать. Когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: *Hic jaceo. Vixi annos viginti et ires*[32]. По причине упадка монастырь отказался от воспитания девушек.

Мы не в силах были пройти мимо этого свое-

---

[32] Примечания: 32

Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года (*лат.*)

образного таинственного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, — быть может, не без пользы для себя, — грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне нам представляются новыми. Это запертый сад. *Hortus conclusus*. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, — во всяком случае, с уважением, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, — что представляет собой распятие? Убиение праведника.

В XIX веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, — лишь бы, отучившись от одного, научились другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, — но при условии, чтобы оно сопро-

вождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое-это привидение, способное подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо — суеверие и своя маска — лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, свобода защищает.

КНИГА СЕДЬМАЯ
В СКОБКАХ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Монастырь — понятие отвлеченное

Эта книга-драма, в которой главное действующее лицо — бесконечность.

Человек в ней лицо второстепенное.

Встретив на своем пути монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь — достояние как Востока, так и Запада, как

мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства — является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь не место развивать некоторые идеи. Однако, не изменяя нашей сдержанности, мысленно делая оговорки и даже негодуя, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы чтим. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

ГЛАВА ВТОРАЯ
Монастырь — факт исторический

С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.

Монастыри, расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромождающие страну, являются помехами для движения и средоточиями празд-

ности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным — это то же, что омела по отношению к дубу или бородавка к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по каким был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные, когда современная цивилизация нарождалась, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, монастыри, благотворные в X веке, спорны в XV, отвратительны в XIX. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации — Италию и Испанию, олицетворявших одна — свет, другая — великолепие Европы в течение ряда веков. И если в наши дни эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь

благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений средних веков. Подобный монастырь — средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, облит зловещим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того, — кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия

распятия окутанные покрывалами существа, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. Это женщины, которые мнят себя супругами Христа; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Их нервы превратились в кости; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, благословляет их и держит в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; средоточия дикости.

Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник — евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью

прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Один-единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. *In-pace*[33] заменял собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земли. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних — волны, на долю других — могила; там — утопленницы, здесь — погребенные. Чудовищная параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделываются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», — говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», — вторят им простаки. Жан-Жак-фразер; Дидро-фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, — фразер. Некто — кто именно, не помню — недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон

---

[33] Примечания: 33
Подземная темница пожизненного заключения (*лат.*)

— жертва и что, право, надо пожалеть «этого бедного Олоферна».

А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя, — вот оно, подлинное средневековье перед глазами у всех нас! — в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля — четыре каменные темницы, наполовину под землей, половину под водой. Это были *in-pace*. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней — в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице мокрый. Мокрая земля заменяла ложе заключенному в *in-pace*. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой — подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, — ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая его гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. *In-pace*,

темницы, железные крючья, ошейники, высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, грязь, заменяющая пол, дыра отхожего места, стена, сквозь которую просачивается вода!.. А нам говорят — фразеры!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
При каких условиях можно уважать прошлое

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком оно до сих пор существует в Тибете, — род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь. Оно опустошает страну. Монастырское заточение — это оскопление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому частое насилие над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опиравшийся на монастырь, право первородства, разрешавшее старшим отсылать в монастыри младших членов больших семей, жестокости, о которых мы только что упоминали, *in-pace*, замкнутые уста, заточенные мысли, ве-

ликое множество несчастных душ, брошенных в темницу вечных обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации страдания этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед сутаной и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.

Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар XIX века; непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, на нежность покойника, который вернулся бы на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! — говорит одежда. — Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» — «Я родилась в морском просторе», — говорит рыба. «Мы были розой», — твердят духи. «Я любил вас», — говорит покойник. «Я просвещал вас», — говорит монастырь.

На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого набальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолоту раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему — все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, — впрочем, люди умные, — применяют простейший прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией, и шествуют, крича: «Вот вам получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспиции. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая».

Bos cretatus[34]. А мы в иных случаях почитаем прошлое и щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоиться в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки — эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хотя и эфемерны; с ними надо вступить врукопашную и воевать, не давая передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции, в середине XIX века — это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, — настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

Будем бороться!

---

[34] Примечания: 34
Набеленный мелом бык (*лат.*) Ювенал (Сатира 10).

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобраться в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» — говорит: «болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Монастырь с точки зрения принципов

Люди собираются и живут сообща. По какому праву? По праву объединения.

Они запираются у себя. По какому праву? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. По какому праву? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что они делают там, у себя?

Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет собственностью. Вступая в общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения: дворянином, вельможей, теперь равен простому крестьянину. Кельи у всех одинаковые. Все подвергаются обряду пострижения, носят одинаковые сутаны, едят черный хлеб, спят на соломе и все превращаются в прах. То же вретище на теле, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все

ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Имя уравнивает всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять это в соображение.

Потому-то в предыдущих главах книги я и говорил об одном монастыре с уважением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община — там коммуна; где налицо коммуна — там право. Мона-

стырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы превратить монастырь в республику.

Продолжаем.

Мужчины и женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубую одежду, они все равны, они зовут друг друга братьями и сестрами, все это так; но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

ГЛАВА ПЯТАЯ
Молитва

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться богу — что это значит?

Существует ли бесконечность вне нас? Едина ли она, имманентна ли, перманентна? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там,

вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы — понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не находится ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Низшее «я» — это душа, высшее «я» — это бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; уничтожать дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое — это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва — могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека — по меньшей мере, возле него — стоит право Души.

Сокрушать фанатизм и благоговеть перед бесконечным — таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, преклонив колена перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, унизанные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоровлять верования, освобождать религию от суеверий, уничтожать все, что паразитирует во имя бога.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Неоспоримая благодать молитвы

Всякий способ молиться хорош, лишь бы молитва была от души. Переверните молитвенник вверх ногами, но душою слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины — на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицающего: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины своей мудростью, они, в глубине души, не слишком

уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.

Мы приветствуем в них философов и неумолимо осуждаем их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделываются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Утверждение: «растение хочет» вместо утверждения: «растение произрастает», было бы действительно весьма плодотворно, если бы к нему добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому, что вывод был бы такой: растение хочет, значит у него есть свое «я»; вселенная хочет, значит у нее есть свой бог.

Мы же, в противоположность этой школе, ничего не отметаем *a priori*, и все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю

бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен: нигилист, если только он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения допустимо, что он сам для себя — «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

Короче говоря, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая все сводит к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто есть что-то.

Человек живет утверждением в еще большей мере, чем хлебом.

Видеть и показывать недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование че-

ловека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами — должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться — какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить — вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу познания, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить совесть побрататься в их душах со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза, — таково назначение реальной философии. Нравственность-это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для человеческого разума. Именно идеал вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость — святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке; став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигну-

той для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и только из любопытства.

Откладывая развитие нашей мысли до другого раза, пока что мы скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил — веры и любви.

Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность — понятия тождественные.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Порицать следует с осторожностью

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые: бороться против первосвященника — Кайафы, против судьи-Дракона, против законодателя — Тримальхиона, против императора Тиверия, — все это ясно, определенно, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех связанных с этим неудобствах и злоупотреблениях, требует признания и пощады. Отшельничество — проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения,

но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь — противоречие. Его цель — спасение; средство-жертва. Монастырь-это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, — вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад, как залог райского блаженства.

Пострижение в монахи или в монахини — самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, насмешки тут неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вера, закон

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских, но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать — все равно что трудиться; мыслить — все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, работают, сложенные пальцы творят. Взгляд, устремленный к небесам, — деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники — не праздные люди, отшельники — не тунеядцы.

Размышлять о Сокровенном — в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник

и философ сходятся. Смерть неизбежна. Тут аббат ордена траппистов перекликается с Горацием.

Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти — правило мудреца и правило аскета. В этом и мудрец и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие — его мы хотим. Существует также нравственное величие — к нему мы стремимся.

Люди опрометчивые, торопящиеся с выводами, говорят:

— Что такое эти неподвижные фигуры, обращенные мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! Перед лицом тьмы, которая окружает и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Людям нужны вечные молельщики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц — это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, — это пре-

красно. *Deo erexit Voltaire*[35].

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на XIX век, — время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены скоропреходящими и гнусными материальными благами, всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все-таки жертва. Вменить себе в долг суровую ошибку — это не лишено благородства.

Если беспристрастно и всесторонне исследовать истину до конца, то нельзя не признать, что в монастыре, самом по себе, в монастыре, как в отвлеченном понятии, бесспорно есть нечто величественное. Особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном принятии мо-

---

[35] Примечания: 35
Богу вознес молитву Вольтер (*лат.*)

нашеского пострига звучит протест.

Суровая и безотрадная монастырская жизнь, отдельные черты которой мы только что обрисовали, — это не жизнь, ибо в ней нет свободы, и не могила, ибо в ней нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую — бездна, где мы будем находиться. Это грань, узкая и неопределенная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно; здесь угасающий луч жизни сливается с тусклым лучом смерти; это полумрак гробницы.

Не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, мы не могли смотреть без благоговейного и сочувственного трепета, без страдания, смешанного с завистью, на эти самоотверженные существа, пугливые и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и ищущие неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные,

изумленные, трепещущие, в иные мгновения полувознесенные могучим дыханием вечности.

КНИГА ВОСЬМАЯ
КЛАДБИЩА БЕРУТ ТО, ЧТО ИМ ДАЮТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
где говорится о способе войти в монастырь

В такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду на углу улицы Полонсо. Гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, оказался хором монахинь, певших утреню; зала, представшая перед ним во мраке, оказалась молельней; призрак, который он увидел простертым на полу, оказался сестрой, «совершающей искупление»; бубенчик, звук которого поразил его, оказался бубенчиком садовника, привязанным к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, сели перед ярко пылавшим очагом ужинать; ужин их состоял из куска сыра и стакана вина; после ужина они сей-

час же улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке была занята Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал:

— Я должен остаться здесь навсегда.

Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Налетевший на него новый шторм забросил их в монастырь, и Жан Вальжан думал теперь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении монастырь был и самым опасным и самым безопасным местом: самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, — таким образом, для Жана Вальжана монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме, самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — это единственное спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал

он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырскую ограду так просто не перелезть. Как же он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это за ребенок? Откуда они оба взялись? В монастыре Фошлеван ничего не слыхал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что с вопросами к нему нельзя было подступиться; да Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительным лицом. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что времена нынче тяжелые и г-н Мадлен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же он замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это не отвратило от него Фошлевана, — как многие из наших северных крестьян, он был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, конечно, пожелал в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимо, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это — каким образом г-н

Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, дотрагивался до них, говорил с ними — и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и представлял себе ясно только одно: г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А его совесть добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой — стану я его спасать? Конечно».

Однако ж как помочь ему остаться в монастыре? Трудная задача! Перед такой, почти неосуществимой попыткой Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой

крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Старый дед Фошлеван прожил всю жизнь для себя, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем в жизни не интересовавшийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, найдя возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью на это накинулся, с какой умирающий, обнаружив стакан хорошего вина, которое он никогда не пробовал, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где было бы небесполезно дать психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и прони-

цательность его простодушию. Потерпев в силу разных причин крушение, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же ни ругань, ни щелканье кнутом, что входило в круг его обязанностей и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, не убили в нем письмоводителя. Он обладал природным умом; его речь была правильна; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Это прямо барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «не то мещанин, не то мужик; в общем ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел и был изрядно потрепан, все же оставался человеком, вполне добровольно повиновавшимся первому побуждению, — драгоценное качество, препятствующее человеку творить зло! Недостатки и пороки, — а у него они были, — не укоренялись в нем; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем знакомстве с ними выигрывают. На

этом старческом лице отсутствовали неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

— Как же вы думаете теперь войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

— Прежде всего, — сказал Фошлеван, — вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад — мы пропали.

— Это верно.

— Господин Мадлен! Вы попали сюда в очень хорошее время, то есть, я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных очень больна. Значит, на нас особенно не будут обращать внимания. Сдается мне, что она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, — святая. Сказать по правде, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить панихиду,

а потом заупокойную обедню. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

— Однако, — заметил Жан Вальжан, — это помещение находится в углублении стены, она скрыта какими-то развалинами, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

— И монахини к ней не подходят.

— Так в чем же дело? — воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь нас никто не увидит».

— А девочки? — возразил Фошлеван.

— Какие девочки?-удивился Жан Вальжан.

Только Фошлеван собрался ему ответить, как раздался удар колокола.

— Монахиня скончалась, — сказал он. — Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану прислушаться. Последовал второй удар колокола.

— Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно в течение двадцати четырех часов, до выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрет, все равно прибегут сюда и

будут всюду совать свой нос. Эти херувимчики — настоящие чертенята!

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Девочки. Вас мигом обнаружат, можете не сомневаться. А потом станут кричать: «Глядите: мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Перемены у них не будет. Весь день пройдет в молитвах. Слышите колокольный звон? Я вам говорил: каждую минуту удар колокола. Это похоронный звон.

— Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя Жан Вальжан подумал: «Здесь Козетта могла бы получить воспитание».

— Конечно, есть! — воскликнул Фошлеван. — Маленькие девочки! Ну и визг подняли бы они тут! И задали бы стрекача! Здесь мужчина — все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

— Этот монастырь — наше спасение, — шептал он про себя. Затем сказал вслух:

— Да, самое трудное — это остаться здесь.

— Нет, — возразил Фошлеван, — самое трудное — выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь от-

хлынула у него от сердца.

— Выйти?

— Да, господин Мадлен, чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

Переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

— Не дай бог, если вас тут застанут. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А монахиням требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более затейливый звон другого колокола.

— Ага! — сказал Фошлеван. — Это сбор капитула. Зовут матерей — изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Скажите, — только не подумайте, что я собираюсь вас допрашивать, — как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и вдруг вам дают дружеский совет возвратиться в лес. Жан Вальжан представил себе весь квартал: всю-

ду слежка, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка — сам Жавер.

— Немыслимо! — воскликнул он. — Дедушка Фошлеван! Считайте, что я упал сюда с неба.

— Я-то этому верю, охотно верю, мне об этом нечего н говорить, — сказал Фошлеван. — Бог, наверно, взял вас на руки, чтобы разглядеть получше, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, но ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел осмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это такой народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

— Козетта.

— Это ваша девочка? Вернее сказать, вы ее дед?

— Да.

— Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут

служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной — ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на Зеленой дороге, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

— Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в корзине и под чехлом, как Козетта.

Фошлеван почесал у себя за ухом, что служило у него признаком крайнего замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

— Это уходит врач покойников, — сказал Фошлеван, — Он поглядел и сказал: «Так и есть: она умерла». После того, как доктор подпишет

пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если монахиня, то обряжают монахини. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник — он ведь отчасти могильщик. Гроб ставят в нижний, выходящий на улицу, церковный придел, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня и факельщиков за мужчин не считают. В этом самом приделе я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб — и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят с грузом внутри. Вот что такое похороны. *De profundis*[36].

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Старый садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее.

— Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, кладбище Вожирар собираются закрыть. Это

---

[36] Примечания: 36

Из глубины взываю (*лат.*) — начало заупокойной молитвы.

старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку — их отвозят на кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. И чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен...

— Погребен, — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой.

— Ну, конечно, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением! — подхватил Фошлеван.

Раздался четвертый удар колокола. Фошлеван быстрым движением снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и пристегнул его к колену.

— На этот раз звонят мне. Меня требует настоятельница. Так и есть, я укололся шпеньком от пряжки. Господин Мадлен! Не двигайтесь с места и ждите меня. Видно, какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

Он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через

сад, мимоходом оглядывая грядки с дынями.

Не прошло и десяти минут, как дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и тихий голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. Приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном, стоявшем в приемной стуле настоятельница ожидала Фошлевана.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям с определенным характером и определенной профессии свойственно принимать взволнованный и вместе с тем значительный вид — особенно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности можно было прочесть на лице настоятельницы — некогда очаровательной и просвещенной мадмуазель Блемер, а ныне матери Непорочность, обычно

жизнерадостной.

Садовник остановился на пороге кельи и робко поклонился. Перебиравшая четки настоятельница взглянула на него и спросила:

— А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

— Дедушка Фован! Я велела позвать вас.

— Вот я, матушка, и пришел.

— Мне нужно с вами поговорить.

— И мне нужно с вами поговорить, — сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. — Мне тоже надо кое-что сказать вам, матушка.

Настоятельница поглядела на него.

— Вы хотите сообщить мне что-то?

— Нет, попросить.

— Хорошо, говорите.

Старик Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецой, — сила; его не боятся и потому на эту удочку попадаются. Прожив два с лишним года в монастыре, Фошлеван добился признания. Если не считать работы в саду, ему, в постоянном его одиночестве, ничего не оставалось делать,

как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от закутанных в монашеские покрывала женщин, сновавших взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой мелькание теней. Наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнозоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван все знал и молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери — изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал свое место и выходил из сторожки, только когда необходимость требовала его присутствия в огороде либо в саду. Тактичность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставлял все ему выбалтывать двух человек: в монастыре — привратника, и потому он знал подробности всего,

что происходило в приемной, а на кладбище-могильщика, и потому он знал все обстоятельства похорон. Так он получал двоякого рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он ничем не злоупотреблял. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего и ни в чем не смыслящий, без сомнения глуховатый — сколько достоинств! Заменить его было бы трудно.

[Пропуск]

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, въехал в аллею, ведшую к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим кстати, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые совершаются ради исполнения долга. Монахини совершили его, не только

не смущаясь, но с полного одобрения их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, — вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего — монастырский устав; что же касается закона, — там видно будет. Люди! Сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю — это всего лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял за колесницей. Его два переплетавшихся заговора: один — с монахинями, другой — с г-ном Мадленом, один — в интересах монастыря, другой — в ущерб этим интересам, — удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана представляла собой то незыблемое спокойствие, которое сообщается другим. Фошлеван не сомневался в успехе. Оставались сущие пустяки. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьека. Он обводил его вокруг пальца. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал каждому его слову.

У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

Когда похоронная процессия достигла аллеи, ведшей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:

— Комедия!

Катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры со сторожем. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

— Вы кто будете? — спросил он.

— Могильщик, — ответил тот.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как в эту минуту у Фсшлевана.

— Могильщик?

— Да.

— Вы?

— Я.

— Могильщик здесь дядюшка Метье?.

— Был.

— То есть как это был?

— Он умер.

Фошлеван был готов к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою.

Фошлеван остолбенел.

— Не может быть! — заикаясь, пролепетал он.

— Очень даже может!

— Но могильщик — это же дядюшка Метьен! — слабо возразил Фошлеван.

— После Наполеона — Людовик Восемнадцатый. После Метьена — Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина!

Внезапно побледнев, Фошлеван всматривался в Грибье.

Это был высокий, тощий, с землистого цвета лицом, очень мрачный человек. Он напоминал неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.

Фошлеван расхохотался.

— Бывают же такие смешные случаи! Дядя Метьен умер! Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы зна-

ете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. Старина Метьен умер! Да, жаль, он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Верно, приятель? Мы сейчас с вами пойдем пропустим по стаканчику.

— Я человек образованный. Я окончил четыре класса. Я не пью.

Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатили по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаг. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван опять стал приглядываться к свалившемуся с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.

— Приятель! — окликнул его Фошлеван.

Тот обернулся.

— Я могильщик из монастыря.

— Мой коллега, — отозвался могильщик.

Фошлеван, человек хотя и малограмотный, но весьма проницательный, понял, что имеет дело с

опасной породой человека, то есть с краснобаем.

— Значит, дядюшка Метьен умер, — пробурчал он.

— Бесповоротно, — подтвердил могильщик. — Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.

— Господь бог... — машинально повторил Фошлеван.

— Да, господь бог, — внушительно повторил могильщик. — Для философов он — предвечный отец; для якобинцев — верховное существо.

— А не познакомиться ли нам поближе? — пробормотал Фошлеван.

— Мы это уже сделали. Вы — деревенщина, я — парижанин.

— Пока не выпьешь вместе, по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку — раскупоришь и душу. Пойдем выпьем. От этого не отказываются.

— Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», — подумал Фошлеван.

До аллейки, ведшей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось несколько шагов.

— Деревенщина! — снова заговорил могильщик. — У меня семеро малышей, которых надо

прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

С удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

— Их голод — враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули кипарисы, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав по траве, углубились в чащу. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свой шаг, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая, размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла ход.

Фошлеван приблизился к могильщику.

— Там отличное аржантейльское вино! — прошептал он.

— Поселянин! — снова заговорил могильщик. — Мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Притане. Он мечтал о том, что я буду литератором. Но на него свалились несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Но я все-таки исполняю обязанности писца по вольному найму.

— Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту хрупкую веточку.

— Одно другому не мешает. Я совмещаю эти две профессии.

Фошлеван не понял последнего слова.

— Пойдем выпьем, — сказал он.

Тут надо сделать одно замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, обходил молчанием один пункт: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник намеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Несмотря на все свое волнение, Фошлеван и не думал раскошеливаться.

Могильщик продолжал, презрительно улыбаясь:

— Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. У кого есть почти законченное образование, тот становится философом. Работу пером я сочетаю с работой заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы знаете тот рынок? Это Зонтичный рынок. Все кухарки из госпиталей Красного креста обращаются

ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам копаю могилы. Такова жизнь, селянин!

Похоронные дроги двигались вперед. Тревога Фошлевана дошла до предела; он озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

— А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка задело кучу земли, за которой виднелась отверстая могила.

— Комедия! — растерянно повторил Фошлеван.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Между четырех досок

Кто лежал в гробу? Нам это известно. Жан Вальжан.

Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было хоть и с трудом,

но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойной совести зависит спокойствие человека вообще! Затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Валъжан не сомневался. Нельзя себе представить положение более критическое, нельзя себе представить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины гроба он имел возможность наблюдать, и он наблюдал за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. Толчки становились реже — он понял, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжают Аустерлицкий мост. Во время первой остановки он догадался, что подъехали к кладбищу; во время второй он сказал себе: «Могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподняли, потом послышалось трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Потом у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик качнули гроб и опустили его изголовьем вниз. Жан Вальжан окончательно пришел в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий душу торжественный голос раздался над ним. Над ним медленно, — так медленно, что он мог уловить каждое из них, — произносились латинские слова, которых он не понимал:

Qui dormiunt in terrae puluere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper[37].

Детский голос ответил:

— *De profundis*.

Строгий голос продолжал:

— *Requiem aeternam dona ei, Doniine*[38].

---

[37] Примечания: 37

«Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение, пусть всегда это помнят» (*лат.*)

[38] Примечания: 38

«Вечный покой даруй ему, господи» (*лат.*)

Детский голос ответил:

— *Et lux perpetua luceat ei*[39].

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

«Скоро кончится! — подумал он. — Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Строгий голос возгласил вновь:

— *Requiescat in pace*[40].

Детский голос ответил:

— *Amen*.

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил что-то вроде удаляющихся шагов.

«Вот уже и уходят, — подумал он, — я один». Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавший на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые дышал Жан Вгльжан, забилось землей.

---

[39] Примечания: 39

«И да светит ему вечный свет» (*лат.*)

[40] Примечания: 40

«Да почиет в мире» (*лат.*)

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Бывают обстоятельства, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, из которой читатель уяснит себе, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и певчий уселись в траурную карету и уехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

— Я плачу!

Могильщик удивленно взглянул на него.

— Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

— Я плачу!

— За что?

— За вино.

— За какое вино?

— За аржантейльское.

— Где оно, твое аржантейльское вино?

— В «Спелой айве».

— Пошел к черту! — буркнул могильщик и сбросил землю с лопаты в могилу.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

— Скорей, приятель, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик набрал еще на одну лопату земли. Фошлеван продолжал.

— Я плачу! — повторил Фошлеван и схватил могильщика за локоть. — Послушай, приятель! Я монастырский могильщик, я пришел тебе подсобить. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем выпьем по стаканчику.

Продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал: «А вдруг он выпьет да не охмелеет?»

— Если вам так хочется, провинциал, я согласен, — сказал могильщик. — Выпьем. Но после работы, не раньше.

С этими словами он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

— Это аржантейльское вино, — по шесть су!

— Ах вы, звонарь! — сказал могильщик. — Динь-дон, динь-дон, только это вы и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И опять сбросил с лопаты землю.

Фошлеван сам не понимал, что говорит.

— Да идемте же выпьем! — крикнул он, — Ведь платить-то буду я!

— После того как уложим ребенка спать, — сказал могильщик и в третий раз сбросил с лопаты землю.

— Видите ли, ночью будет холодно, — воткнув лопату в землю, добавил он, — и покойница начнет звать нас, если мы оставим ее без одеяла.

Тут могильщик, набирая землю лопатой, нагнулся и карман его блузы оттопырился.

Блуждающий взгляд Фошлевана упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; в глубине кармана можно было разглядеть что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули с яркостью,

удивительной для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенило.

Осторожно, чтобы не заметил могильщик, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил белый предмет.

Могильщик в четвертый раз сбросил с лопаты в могилу землю.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую лопату, Фошлеван с самым невозмутимым видом сказал:

— Кстати, новичок, а пропуск при тебе?

Могильщик приостановился.

— Какой пропуск?

— Да ведь солнце-то заходит!

— Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

— Сейчас запрут кладбищенские ворота.

— И что же дальше?

— А пропуск при тебе?

— Ах, пропуск!

Могильщик стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

— Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска... Должно быть, забыл его дома.

— Пятнадцать франков штрафу, — заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

— А, разрази их господь! — воскликнул он. — Пятнадцать франков штрафу!

— Три монеты по сто су, — пояснил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

— Ну, ну, юнец, — сказал Фошлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков — это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не платить. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно; солнце заходит, оно уже достигло купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

— Это верно, — согласился могильщик.

— За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут кладбище.

— Правильно.

— В таком случае с вас пятнадцать франков

штрафу.

— Пятнадцать франков!

— Но время еще есть... Вы где живете?

— В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

— Время у вас еще есть, если только вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

— Это верно.

— Как только вы окажетесь за воротами, мчитесь домой, берите пропуск, бегите обратно, сторож вас впустит. А раз у вас будет пропуск, платить не придется. И тогда уже вы зароете покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

— Я обязан вам жизнью, провинциал!

— А ну, живо! — скомандовал Фошлеван.

Вне себя от радости могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся среди деревьев и шаги его замерли, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

— Дядюшка Мадлен!

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а скатился в могилу, припал к изголовью гроба и крикнул:

— Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух — так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал у крышки гроба верхнюю доску. В сумеречном свете он увидел лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан, мертвенно-бледный, лежал неподвижно.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

— Он умер!

Снова выпрямившись, он с такой яростью скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

— Так вот как я спас его! — вскричал он.

Бедняга, всхлипывая, заговорил сам с собой. Принято думать, что монолог несвойствен человеческой природе, — это неверно. Сильное волнение нередко заявляет о себе во всеуслышание.

— В этом виноват дядюшка Метьен, — причитал он. — Ну с какой стати этот дуралей умер?

Зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ожидал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Медлен! Вон он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка? Что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, да разве это возможно? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я говорил ведь! Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я останусь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться старыми дураками! Как же это он все-таки попал в монастырь? С этого все и началось. Нельзя проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Не слышит. Попробуйте-ка теперь выкрутиться!

фошлеван стал рвать на себе волосы.

Издали послышался скрип. Запирали ворота.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном,

но вдруг подскочил и отшатнулся, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты и смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение почти так же жутко. Фошлеван окаменел; бледный, растерянный, потрясенный всеми этими необычайными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

— Я уснул, — сказал Жан Вальжан и привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

— Пресвятая дева! Ну и напугали же вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

— Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в чувство.

Радость — отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

— Так вы не умерли! Ну до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе: «Так! Ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы поса-

дили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы! Вот счастье-то!

— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти два человека, даже придя в себя, все еще, сами того не понимая, испытывали душевное смятение; в них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места.

— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

— Но сначала хлебните, — сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного воз-

вращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

— Идем. Я возьму лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

— Вы закоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертых ворот и сторожки, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул

за шнур, дверь отворилась, и они вышли.

— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.

Они беспрепятственно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

— Дядюшка Мадлен! — всматриваясь в дома, сказал Фошлеван. — Вы видите лучше моего. Покажите, где номер восемьдесят седьмой?

— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.

— На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучался в дверь мансарды. Чей-то голос сказал:

— Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства каморку. Ящик для упаковки товара — а может быть, гроб — служил комодом, горшок из-под масла

— посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и дети. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, — от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха.

— Я принес ваш заступ и лопату, — сказал он, войдя.

Грибье с изумлением взглянул на него.

— Это вы, поселянин?

— А завтра утром вы получите у сторожа пропуск.

Он положил на пол лопату и заступ.

— Что это значит? — спросил Грибье.

— Это значит, что вы выронили из кармана пропуск, а когда вы ушли, я нашел его на земле; покойницу я похоронил, могилу засыпал, работу вашу выполнил, привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

— Благодарю вас, провинциал! — в восторге вскричал Грибье. — В следующий раз за выпивку плачу я!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Удачный допрос

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал — это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта. Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на Зеленую дорогу, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица забрасывала Козетту вопросами, но та вместо ответа смотрела на нее мрачным взглядом. Козетта ничего не выдала из того, что

видела и слышала в течение последних двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Лучше всех хранят тайну дети.

Но когда по прошествии мучительных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что если б его услыхал человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье человека, которого только что извлекли из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним отворились.

Так была разрешена двойная страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз напротив ворот. Привратник впустил всех троих, и они дошли до внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал

распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек свечи освещал, вернее, — силился осветить, приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Особенно зорким был ее взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

— Вы его брат?

— Да, матушка, — ответил Фошлеван.

— Ваше имя?

— Ультим Фошлеван.

У него был брат Ультим, давно умерший.

— Откуда вы родом?

— Из Пикиньи, близ Амьена, — ответил Фошлеван.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят, — ответил Фошлеван.

— Чем вы занимаетесь?

— Я садовник, — ответил Фошлеван.

— Добрый ли вы христианин?

— В нашей семье все добрые христиане, — ответил Фошлеван.

— Это ваша малютка?

— Да, матушка, — ответил Фошлеван.

— Вы ее отец?

— Я ее дед, — ответил Фошлеван.

Мать — изборщица сказала настоятельнице вполголоса:

— Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и шепнула матери-изборщице:

— Она будет дурнушкой.

Монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

— Дедушка Фован! Вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду раздавался звон уже двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушение приподнять кончик покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то еще. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено — монахини сообщали друг другу:

— Это помощник садовника.

А матери-изборщицы прибавляли:

— Это брат дедушки Фована.

Жан Вальжан вступил в должность по всем

правилам: у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Звали его Ультим Фошлеван.

Главное, что заставило настоятельницу принять его на службу, это ее впечатление от Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность, вот почему девушки, сознающие, что они красивы, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда вытекает живой интерес к дурнушкам.

Это происшествие возвеличило старика Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матери Распятие под алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в

монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб — на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была велика. Фошлеван считался теперь лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. Когда монастырь посетил архиепископ, настоятельница рассказала обо всем его высокопреосвященству, как будто бы и каясь, а вместе с тем и хвалясь. Архиепископ, уехав из монастыря, одобрительно шепнул об этом духовнику его высочества де Латилю, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. Слава Фошлевана дошла до Рима. Мы видели записку папы Льва XII к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию — делла Женга; в ней есть такие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение

которого красуется в *Illustrated London News*[41] с подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать.

Коззета считала себя дочерью Жана Вальжана, что было вполне естественно. Но, ничего не зная, она ничего не могла рассказать, а если б и знала, все равно бы никому не сказала. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, — мы уже об этом говорили. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. С монастырем она освоилась довольно быстро. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Как воспитанница монастыря, Козетта обязана

---

[41] Примечания: 41
«Лондонские иллюстрированные новости» (*англ.*)

была носить форму пансионерки. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали снятую ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он переодел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платьице вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в чемоданчик, который умудрился себе раздобыть, и все пересыпал камфорой и благовонными веществами, распространенными в монастырях. Чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него носил с собой. «Отец! Что это за ящик, который так хорошо пахнет?» — как-то спросила его Козетта.

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали долей

проницательности Жавера, то они бы в конце концов заметили, что всякий раз, когда приходилось выходить за пределы монастыря по делам садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромой Фошлеван — старший, а другой никогда не выходил. Потому ли, что взор, устремленный к богу. не умеет шпионить, потому ли, что монахини были заняты главным образом тем, что следили друг за другом, но только они не обращали на это внимания.

Впрочем, хорошо, что Жан Вальжан оставался в тени и нигде не показывался. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Эти четыре стены представляли для него вселенную. Здесь он мог видеть небо, — этого было достаточно для душевного спокойствия, — и Козетту — этого было достаточно для его счастья.

Для него вновь началась счастливая жизнь.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. В этом домишке, сколоченном из строительных отходов и еще существовавшем в 1845 году, было, как известно, три совершенно пустые, с голыми стенами, комнаты. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное,

но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, помимо двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим:

КАТОЛИЧЕСКАЯ

Именем короля Равноценно десяти ливрам.

За предметы, поставляемые армии.

Подлежит оплате по установлении мира.

Серия 3 № 10390

Стоффле

И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ

Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за

растениями. Он ими воспользовался. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они опять стали приносить чудесные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Сестры были всегда мрачны, а он приветлив, и девочка обожала его. В определенный час она прибегала в сторожку. С ее приходом здесь воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье растет от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

А Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное выражение. Смех — это солнце: оно прогоняет с человеческого лица зиму.

Не будучи красивой, Козетта становилась прелестной; голос у нее был по-детски нежный, и она мило болтала.

Когда, по окончании рекреации, Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с другими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в то время, которое можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, — отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о

том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бесконечной винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до поздней ночи; им почти не оставалось времени для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; на них были отвратительные красные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особенно тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклейменные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

Эти существа тоже были острижены; они жили тоже не поднимая глаз, не повышая голоса; их

уделом был не позор, но насмешки; их спины не были избиты палками, зато плечи истерзаны бичеванием. Их имена были тоже утрачены для мира; у них были только строгие прозвища. Они никогда не ели мяса, не пили вина; часто ничего не ели до самого вечера; на них были не красные куртки, а шерстяные черные саваны, слишком тяжелые для лета, слишком легкие для зимы, и они не имели права ничего убавить в своей одежде и ничего к ней прибавить; у них не было даже в запасе, на случай холода, ни холщовой одежды, ни шерстяного верхнего платья, полгода они носили грубые шерстяные сорочки, от которых их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец, им не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, они, изнеможенные, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной молельни.

Все эти создания должны были поочередно стоять на коленях двенадцать часов подряд на каменных плитах пола или лежать, распростер-

шись ниц, раскинув руки крестом.

Те существа были мужчины; эти — женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были разбойники, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там — разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, убийство, все виды кощунства, разнообразие преступлений; здесь же — невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная над землей в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая и к небу своею святостью.

Там — признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь — исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там — миазмы, здесь — благоухание. Там — нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных, здесь — чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там — мрак, здесь — тень, но тень, полная озарений, и озарения, полные лучистого света.

И там и здесь — рабство; но там возможность освобождения, предел, указанный законом, наконец, побег. Здесь — рабство пожизненное; единственная надежда — и лишь в самом далеком будущем — тот брезжущий луч свободы, который люди называют смертью.

К тому рабству люди прикованы цепями; к этому — своей верой.

Что исходит оттуда? Неслыханные проклятия, скрежет зубовный, ненависть, злоба отчаяния, вопль возмущения человеческим обществом, хула на небеса.

Что исходит отсюда? Благословение и любовь.

И вот в этих столь похожих и столь разных местах два вида различных существ были заняты одним и тем же — искуплением.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, — искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупление чужих грехов, взятое на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»

А голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия — искупление чужих грехов».

Наше мнение по этому поводу мы оставляем при себе — мы являемся здесь только рассказчиком; мы становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, вершина добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, которого просят души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он еще смеет роптать!

Нередко он вставал ночью, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробегал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто были наказаны справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства и что он, несчастный, тоже когда-то восставал против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и

преодоление ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение — все усилия, предпринятые им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это его судьбы? Он глубоко задумывался над этим, словно внимая тихому, предостерегающему голосу провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, но он не представлял себе ничего подобного.

Он опять увидел решетки, замки, железные засовы; кого же должны они были стеречь? Ангелов.

Когда-то он видел высокие стены вокруг тигров; теперь он видит их опять, но вокруг агнцев.

Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то. Девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал об этом, все существо его скло-

нялось перед тайной непостижимо высокого.

Во время таких размышлений гордость исчезает. Он рассматривал себя со всех сторон и, сознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение полугода, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта — путем любви, монастырь — путем смирения.

В сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, возле молельни: он стоял на коленях под окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, лицом туда, где, как ему было известно, лежала распростертая в искупительной молитве сестра-монахиня. И, преклонив перед нею колена, молился.

Перед богом он словно не осмеливался преклонить колена.

Все, что окружало его, — мирный сад, благоухающие цветы, дети, их радостный гомон, простые, серьезные женщины, тихая обитель, — медленно овладевало им, и постепенно в его душу проникли тишина монастыря, благоухание цветов, мир сада, простота женщин, радость детей. И он думал, что это два божьих дома, приютивших его в роковые минуты его жизни: первый — когда все двери были для него закрыты и человеческое

общество оттолкнуло его; второй — когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь перед ним открывалась каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Прошло много лет: Козетта подросла.